

Людвиг Павельчик
**ЛЮТЫЙ
ГОСТЬ**



Людвиг Павельчик

Лютый гость

«Accent Graphics communications»

2016

Павельчик Л.

Лютый гость / Л. Павельчик — «Accent Graphics communications», 2016

В древнем баварском замке Вальденбург находится женский монастырь ордена Датских Ключниц. В мрачных подземельях монастыря обитают легенды и таятся страхи, а живущие здесь монахини весьма странно «заботятся» о воспитанниках состоящего при монастыре интерната для мальчиков. Туда-то и попадает Вилли Кай – запуганный сирота с тяжелой судьбой. Он неразговорчив и боится ночи, но никто не догадывается, что боязнь эта вызвана удивительным даром мальчика, который грозит стать для него настоящим проклятием! Вилли придется многое испытать и научиться отличать черное от белого, чтобы не заплутать в темных закоулках и бездонных омутax человеческой души. Вдобавок ко всему оказывается, что парнишка роковым образом связан с историей некой «двери», соединяющей замок Вальденбург с его средневековым двойником...

© Павельчик Л., 2016

© Accent Graphics
communications, 2016

Содержание

Предисловие автора	5
Лютый гость. роман	6
Пролог	7
Глава 1	13
Глава 2	21
Глава 3	33
Глава 4	42
Глава 5	51
Глава 6	61
Глава 7	73
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Людвиг Павельчик

Лютый гость

Предисловие автора

Черкнуть пару строк к роману меня побудило множество неоднозначных отзывов на печатное издание (Vela-Verlag 2017), пестрящих всеми возможными оттенками – от похвал до отборных ругательств. Одни «ругатели» аргументировали свое недовольство тем, что я якобы исказил историю и изувечил какие-то там идеалы, другие сетовали на чувство брезгливости, третьи же и вовсе ничем не аргументировали – просто изливались желчью и брызгали слюной (хорошо, что лишь в монитор своего компьютера).

Сделав из всего этого верные выводы, я, выпуская в свет электронную версию книги, вынужден еще раз указать на то, что перед вами не научно-исторический труд и не результат объективного журналистского расследования, а художественное произведение, не претендующее на историческую точность событий и не содержащее их оценки. Сам я не являюсь приверженцем никакого культа (ни вины, ни доблести, ни – упаси Бог! – личности) и пишу о совсем других вещах, а именно о человеческой душе и ее недугах (которые мне, как психиатру, чрезвычайно интересны). Ну, а тем, до кого и теперь не дошли мои доводы, я могу лишь напомнить об их праве не читать эту книгу.

С почтением ко всем читателям
Людвиг Павельчик

ЛЮТЫЙ ГОСТЬ. РОМАН

Так будьте же, ваши милости, внимательны, и вы услышите историю правдивую, по сравнению с которой вымышленные истории, отмеченные печатью глубоких раздумий и изощренного искусства, может стать, покажутся вам слабее.

М. де Сервантес. Дон Кихот

...Никогда не ищи себе, детка, ни знакомцев, ни учителей, ни суженой по ту сторону пелены... Сказочные миры ты увидишь клоакой... белое станет черным... улыбка обернется оскалом, а сладкий мед – ядовитой горечью...

Сестра Эдит

Пролог

Одинокая могила, фрау Шторх и печальный незнакомец

Древние городки и поселки юго-востока Баварии обладают каким-то особенным очарованием. Внешне они схожи между собой, как первоклашки: две обязательные башни над арками-воротами в старый город, булыжные мостовые, на которых до сих пор как будто слышится грохот каретных колес, и тесно прилипшие друг к дружке, вросшие в землю дома времен Римской империи... Но в каждом из них есть и своя «изюминка», или, если хотите, отличительная особенность – будь то старая живописная набережная, литой памятник местному рыцарю или зловещая история-легенда, предлагаемая гостям вместе с золотистым пивом, белыми сосисками и солеными кренделями.

Мне, немолодому музейному работнику из Вены, все это не в диковинку. В свое время я исколесил эти места вдоль и поперек и вволю надышался свежим воздухом Дуная и ароматом сказки его берегов. Поэтому, когда в августе прошлого года я вынужден был остановиться на ночлег в одном из ниже-баварских городков, меня интересовала не историческая ценность его площадей, а лишь возможность отдохнуть и набраться сил для дальнейшего пути в Вену.

Я снял комнату в каком-то недорогом пансионате и, радуясь царившему в тот день теплоте безветрию, заказал себе ужин на террасу, с которой открывался великолепный вид на реку и старую крепость на пригорке. Уже почти стемнело, и силуэт здания черной эмблемой выделялся на фоне закатного неба. Я знал, что очарование этого пейзажа обманчиво: никогда уже стены бывшей крепости не осветят факелы ее гарнизона и тишину ночи не прорежет скрип поднимаемого над защитным рвом моста, так как ни факелов, ни самого гарнизона больше не существует, а ров давным-давно засыпан. В крепости этой, успевшей, к слову сказать, побыть и замком, и монастырем, сегодня располагается частный дом престарелых – учреждение мрачное и совсем не романтическое.

Пужинав и выкурив сигарету, я решил прогуляться по набережной и послушать «музыку Дуная», как я называю ту чудную гамму звуков, что доносится обычно с ночной реки. Я пересек тихую улицу, прошел к городской площади, где полюбовался роем мотыльков в желтом пятне света под фонарем, и спустился вниз, к причалу. Постояв немного у перил, я двинулся вдоль реки и, погруженный в свои мысли, не заметил, как вышел из города. Передо мной возникла черная громада крепости со светящимися окнами – должно быть, не все старики спали в этот час, – а по левую руку показалась кромка леса, к которой я и направился через маисовое поле.

Проходя мимо бывшего замка, я вдруг услышал, как скрипнули ворота в его высоком кирпичном заборе, и, повинувшись внезапному импульсу, шагнул с дороги в тень высокой кукурузы. Не знаю, зачем я это сделал: бояться мне некого, да и к особо любопытным я себя не отношу, но в атмосфере ночи всегда есть что-то необычное, побуждающее отступить от привычных шаблонов поведения.

Я стоял в тени кукурузных стеблей, куда не проникал свет ни взошедшей только что луны, ни далеких уличных фонарей, и ждал. Вот от замковой стены отделилась человеческая фигура и, выйдя минутой позже на дорогу, побрела в сторону леса. Судя по походке и кошачьей мягкости движений, это была женщина, но рассмотреть ее получше не представлялось возможности: должно быть, опасаясь ночной прохлады, она куталась в просторный плащ с капюшоном и не оглядывалась по сторонам.

«Что ей делать ночью в поле? – спросил я себя. – Или она идет в лес?»

В силу моей музейной деятельности я отношу себя к людям, равнодушным к истории и всякого рода тайнам, а потому и любопытство мое разбудить очень легко. Вот и тогда, в тот вечер, я встрепенулся и почувствовал жгучий интерес к происходящему, напрочь забыв

про усталость и желание выспаться. Пропустив женщину мимо себя, я неслышно вышел на дорогу (пробираться по перерытой, изборожденной тракторными гусеницами кромке кукурузного поля было бы невозможно) и последовал за ней, надеясь, что ей не придет в голову оглянуться.

Женщина никуда не торопилась. Она словно плыла по дороге и не размахивала руками, как это делают при ходьбе представители мужского пола, да и вообще, похоже, держала руки на груди, так как рукава ее плаща свободно свисали и пальцы («тонкие и нежные», как часто пишут в романах) из них не выглядывали. Поначалу мне приходилось сдерживать шаг, чтобы не выдать себя неосторожным движением, но потом, видя, что женщина не интересуется окружающим, я осмелел и приблизился к ней почти вплотную. Нас разделяли всего несколько шагов, когда странная дамочка вдруг свернула с дороги на невидимую тропинку и пошла к кромке леса, шурша полой плаща о высокую траву. Недолго думая, я последовал за ней, не отдавая себе отчета в том, какое впечатление произведу, если она меня обнаружит.

Не прошло и минуты, как тропа, по которой мы шли, оборвалась, упершись в большой круглый камень. Что это был за камень, я в лунном свете не разобрал, но, помню, испугался при мысли, что женщина может обернуться и увидеть меня, и сделал большой шаг в сторону, в кукурузу. Шум я, должно быть, произвел при этом страшный, но удача сопутствовала мне: капюшон женщины скрадывал окружающие звуки и она ничего не услышала. Возблагодарив за это Господа, я присел и затаился, меж стеблей наблюдая за действиями той, которую так бесстыдно преследовал.

Женщина опустила на одно колено, склонила голову и возложила руки на камень (последнее действие я мог лишь угадать, так как со спины рук ее не видел). Своей позой она очень напоминала молящуюся, но каким-то странным, неизвестным мне способом. Мне показалось, что она шептала что-то, если, конечно, меня не обманул шелест ночного ветра, гулявшего в стеблях кукурузы. Мне вдруг стало неуютно: я чувствовал себя так, как будто приник глазом к замочной скважине в двери женского душа и не мог от нее оторваться. К тому же тропа, по которой фигура в плаще привела меня сюда, обрывалась у камня, и женщина, окончив свою молитву, неминуемо должна была развернуться и увидеть меня в этой проклятой кукурузе...

Тут на луну наплыла неизвестно откуда взявшаяся туча, и молящуюся скрыла от меня ночная тьма. Стало вдруг невыносимо жутко: мелькнула мысль, что женщиной я назвал это создание в плаще чисто интуитивно, а на самом деле не видел ни лица этого существа, ни волос, ни даже кончика пальца... А что, если это и не женщина вовсе, а то и вообще не человек? Кто же тогда?

Бог мой! Позволь мне уйти!

Забыв обо всем на свете, я выскочил из кукурузы на тропу, которую чудом распознал в кромешной тьме, и быстрым шагом пошел прочь, вымаливая у Отца Небесного секунду за секундой. Бежать я не рисковал, понимая, что не имею права оступиться и получить травму, и тяжелы, нескончаемы были эти метры узкой тропки, отделяющие меня от широкой дороги!

Утреннее солнце, как водится, рассеяло мои ночные страхи, а чашка крепкого кофе с яичницей на завтрак и вовсе подняли мой «боевой дух». Тревога уступила место любопытству, и я твердо решил не уезжать из городка, пока не узнаю историю камня на кукурузном поле и женщины в плаще, наверняка имевшей какое-то отношение к дому престарелых, от ворот которого я ее прошлой ночью провожал.

Для начала я отправился той же дорогой через поле, что и вчера. Вся округа преобразилась: весело щебетали беззаботные птицы, шумели могучие стебли готового к уборке маиса, и настроение мое было совсем иным, нежели при лунном свете. Я быстро прошагал свой вчерашний участок пути и чуть было не пропустил начало неприметной, протоптанной в кукурузе тропки.

Дорожка в поле была узкой и извилистой, так что мне то и дело приходилось пригибаться и отодвигать рукой листья и тяжелые спелые початки, чтобы не оцарапаться. Странно, но вчера, когда я преследовал здесь фигуру в плаще, тропинка показалась мне гораздо более широкой... Следуя ее изгибам, я еще несколько минут пробирался через поле, пока наконец не остановился перед большим белесым валуном, перегородившим мне дорогу. Тропа здесь обрывалась, и не могло быть никаких сомнений в том, что именно этому камню кланялась вчера странная особа в плаще.

Признаться, я был разочарован. Наверное, я ожидал найти что-то вроде сказочной скалы-указателя: «Направо пойдешь... прямо пойдешь...», но обнаружил лишь обычный округлый камень неправильной формы, правда, слишком большой, чтобы ни с того ни с сего оказаться посреди давно культивируемого поля, но все же вполне обыкновенный. По тому, как глубоко камень врос в землю, было件нятно, что лежит он здесь уже достаточно давно, – так давно, что его отшлифованная дождями поверхность стала гладкой, как яйцо.

«Ну вот, ничего интересного!» – пожаловался я неизвестно кому и собрался уже взгромоздиться на валун и выкурить сигарету, прежде чем отправиться в обратный путь, но вдруг заметил на камне какие-то слабо видимые знаки, сделанные, похоже, резцом. Нагнувшись, я попытался разобрать надпись, что оказалось несложно:

*«Ты умер здесь и засыпан в 1962 году.
Лютый рок и я погубили тебя.
Нет мне прощения».*

Я почесал в затылке. Было ясно, что камень являлся надгробием какому-то неизвестному. Сама надпись, конечно, довольно пафосная, с претензией на трагичную романтичность, но это – обычное дело. Станным же казалось то, что могилу устроили прямо на месте смерти этого человека, а не на кладбище, как того требует обычай. И почему «засыпан», а не «похоронен» или «погребен»? К тому же я никогда прежде не встречал памятника с эпитафией, но без имени!

Вопросов у меня было больше, чем ответов, что делало всю эту историю интересной, особенно если принимать во внимание ту фигуру в плаще, навещающую могилу по ночам...

Сигарету свою я выкурил стоя, задумчиво глядя на необычный могильный камень. Чем дольше я на него смотрел, тем яснее мне становилось, что ответы на мои вопросы следует искать в другом месте – например, в доме престарелых по соседству. Но что я там скажу? «Здравствуйте! Не подскажете ли, где я могу узнать, кто тут у вас шастает ночами в плаще по полям и молится старым надгробиям?» Тогда мне ответят: «Конечно, подскажем, дорогой вы наш! В ближайшей лечебнице для полоумных! Да попросите там привязать вас хорошенько!»

Мне уже доводилось раньше бывать в учреждениях подобного рода, поэтому, переступив порог дома престарелых, который почему-то назывался «Осенний лист», я направился напрямиком к девушке за конторкой, курносой и симпатичной. Девушка безумно хотела казаться важной и сделала вид, что роется в каких-то бумагах и не замечает меня. Я позволил ей наслаждаться собственной значимостью и постучал костяшками пальцев по стойке, лишь когда это действие стало затягиваться.

– Ой, извините! – улыбнулось мне милое создание. – Я тут как раз сверяла списки и не заметила, как вы подошли.

– Бывает, – постарался я быть приветливым. – Списки – большое дело.

– И не говорите!

– И не буду. Я, собственно, по другому вопросу.

– По вопросу? – взметнулись приклеенные ресницы. – А я думала, что вы навещать кого-то пришли.

– Вы правы, навестить.

– Кого же?

– Вот в этом-то и проблема. Я не знаю имени этого человека.

Девушка откинулась на спинку стула и сунула в рот карандаш, с помощью которого до этого «сверяла списки». В глазах ее появилось насмешливое выражение.

– Как же это вы приходите, не зная, кого хотите увидеть?

Разговаривать с привратницей смысла не имело, и я решил закругляться:

– Я знал, родненькая, пока не увидел вас, – тут-то я и потерял голову. Вы уж просто покажите мне пальчиком, где находится кабинет вашего начальства, и я не стану отвлекать вас от ваших списков!

«Родненькая» насупилась:

– Фрау Шторх сейчас занята, у нее важный телефонный разговор.

– Разве я просил вас сказать мне, что она делает? У вас есть пальчики?

– Четвертая дверь слева по коридору, – буркнула консьержка и потеряла всякий интерес ко мне. Ну и ладно.

Я двинулся в указанном направлении, рассматривая по дороге висевшие на стенах картины и фотографии сотрудников. Среди множества мелких изображений медсестер и уборщиц выделялись три крупных портрета: седовласой дамы преклонных лет, дамочки помоложе и толстого парня в поварском колпаке. Чем заслужили свои большие портреты двое последних, осталось для меня неясным, но подпись под ликом пожилой тетки гласила, что это – «руководитель учреждения Маргарет Шторх», а значит, именно та дама, что была сейчас занята «важным телефонным разговором», если верить ее маленькому курносому церберу. Ага, посмотрим.

– Вы ко мне?

– Именно к вам, фрау Шторх. Можно?

– Конечно. Вы по делу?

Подтянутая пожилая женщина благородного вида – точная копия своего портрета – оторвалась от лежащих перед ней бумаг и посмотрела на меня без особой радости, но и без недовольства. Загорелая кожа, горстка украшений и чуть подведенные глаза – хорошо выглядят для своих лет, фрау Шторх!

– Да, по делу. Но дело у меня не совсем обычное.

– Неужели? Хотите, угадаю? Вы – племянник, желающий сбавить престарелую тетушку и поселиться в ее доме, или новый опекун кого-то из постояльцев, и у вас «щекотливое финансовое дельце», или же вы, на худой конец, нотариус и хотите обстряпать подписание завещания одной из наших старух так, чтобы оно было действительным, несмотря на маразм. Я права?

«С посетителями в таком тоне не разговаривают, – подумал я, лучезарно улыбаясь. – Не пора ли вам, милая фрау Шторх, на пенсию?» Вслух же сказал:

– Нисколько не сомневаюсь в вашей проницательности, фрау Шторх, но на этот раз вы поторопились с оценкой. Если меня и интересуется кто-то из ваших постояльцев, то совсем по другой причине. Я – историк и работаю в одном из венских музеев.

– Вот как? – дама слегка удивилась. – На музейного работника вы совсем не похожи. Но даже если и так: что в баварском доме престарелых может представлять интерес для австрийского музея?

– Прошрое, фрау Шторх, что же еще? Мы храним его материальные останки, вы же заботитесь о о тех последних живых, что еще помнят его...

– Не люблю витиеватости. Говорите прямо, что вам нужно?

Я сидел на скамейке перед «Осенним листом» и курил. Как и ожидалось, фрау Шторх после моего рассказа послала меня к чертовой матери и велела не отвлекать ее от работы всякими глупостями. «Откуда мне знать, кого вы видели? У нас не тюрьма, и каждый постоялец волен делать что хочет: сидеть в пивной, играть на скачках или шастать по полям и молиться на надгробия. Меня это не касается, да и вас касаться не должно». Вот и весь диалог.

Я не обижался на фрау Шторх. В конце концов, с какой стати ей тратить свое время на удовлетворение любопытства какого-то праздношатающегося болвана из иностранного музея?

Погода стояла замечательная, и многие постояльцы, как и персонал, высыпали во двор погреться на солнышке. Неподалеку от меня приходящий врач расспрашивал молоденькую медсестру о ее подопечных. «Как дела у такой-то, дескать, бабки?» – «Ой, уже лучше, доктор! Настроение появилось, не такая вялая...» – «Ну, а у этой?» – «Тоже хорошо! После того, как вы назначили ей те синенькие таблетки, из помойного ведра она больше не ест...» – «Отлично! Ну, а дед-то тот как?» – «Помер дед...» – «Та-ак... Хорошо, вычеркиваем. А Иоланта?» – «Не спит ночами Иоланта! Полдесятого уже встает с постели и шарахается по этажу, как привидение!» – «А кладете во сколько?» «Ну... в полпятого-пять...» – «Да уж, серьезные нарушения сна! Таблеточку!» – «А может, привязать?» – «Можно и привязать, если невмоготу...» И все в том же духе.

Я уж совсем собрался было уходить, когда вдруг заметил не совсем обычную картину: седовласый, очень достойного вида пожилой человек в темно-синем, чуть старомодном костюме и аккуратно повязанном галстуке в горошек сидел на низенькой скамеечке у ног грузной, едва помещавшейся в кресле-каталке старой дамы и осторожно, словно боясь в чем-нибудь ошибиться, кормил ее с ложки какой-то густой белесой субстанцией – не то йогуртом, не то заварным кремом. Старуха, судя по всему, находилась в очень глубокой стадии деменции: она не замечала сидящего возле нее мужчину и не интересовалась окружающим. Невидящий взгляд ее был устремлен куда-то в угол двора, а правая рука беспрестанно теребила юбку, пуговицы кофты и руки мужчины, норовя выбить из них чашечку с йогуртом. При этом женщина непрерывно издавала какой-то скулящий звук, а из уголка рта у нее подтекал только что отправленный туда йогурт вперемешку со слюной, который мужчина тут же промокал салфеткой. Голова старухи лежала на груди, а грудь – на коленях.

Мужчина посмотрел на меня и почему-то улыбнулся, а мне вдруг стало неловко, оттого что я сижу тут, как в цирке, и таращусь на них. Не желая казаться безучастным зрителем, я приблизился и заговорил:

– Извините за бестактность, но не могу ли я чем-то помочь?

Он улыбнулся:

– Спасибо, господин, но не думаю, что ей можно помочь. Это – хроническое состояние и не поддается корректровке.

– Да уж, – сочувственно покачал я головой. – У моей тетушки тоже было старческое слабоумие, и мы...

– Простите, – перебил меня мужчина и, притулив баночку с йогуртом в специальную выемку в подлокотнике кресла, повернулся ко мне всем телом, – но у нее не слабоумие, как вы изволили выразиться. Я уверен, что она находится в здравом уме и хорошо ориентирована... Тут другое.

– Что же? Шизофрения?

– Нет-нет, отнюдь, хотя... Я не знаю, как развивается шизофрения, но причиной этого состояния явился, как бы вам сказать... страх. Даже не страх, а дикий ужас – сильнейшая, парализующая нервную систему эмоция, гораздо более глубокая, чем просто страх смерти...

Я сразу заинтересовался. Многие дети склонны преувеличивать страдания и былую значимость своих стариков, но тут явно было что-то другое.

– Не хочу быть навязчивым, ведь я не врач, но... Могу ли я спросить, что же случилось с вашей матерью?

Мужчина чуть расслабил на шее галстук в горошек и снова грустно улыбнулся.

– Не думаю, что это имеет смысл. Помочь ей все равно никто не сможет, а вспоминать истории пятидесятилетней давности не очень-то хочется. Тем более если речь идет об историях столь странных и невероятных, как эта... Вздумай я рассказать вам ее, вы, чего доброго, записали бы меня в сумасшедшие, так что лучше не стоит.

Он вновь отвернулся и продолжил кормить йогуртом старую женщину, по-прежнему смотрящую в одну точку и колотящую рукой о подлокотник кресла.

Ну, нет так нет.

– Извините за беспокойство, – чуть поклонился я несостоявшемуся собеседнику и, чтобы сгладить неловкость, добавил в шутовском тоне: – Видно, такая уж моя судьба сегодня – ни о камне-могиле узнать не довелось, ни тут не выгорело. До свидания!

– Что вы сказали? – встрепенулся вдруг мужчина и посмотрел на меня с интересом. – Вы говорите о камне с кукурузного поля?

– Угу. Я гулял здесь ночью и увидел женщину, что молилась у надгробия. Думал, что смогу разузнать что-нибудь об этом, но... Прощайте!

– Подождите!

Он встал со своей скамеечки, отряхнулся и протянул мне тисненную золотом визитную карточку.

– Позвоните мне на неделе, если хотите. Быть может, я и расскажу вам об этом, если хватит духу. А пока... Чтобы представлять себе, о чем пойдет речь, не поленитесь, прошу вас, и пролистайте подшивки местных газет за июль 1962 года. Думаю, вы найдете там кое-что интересное!

Глава 1

Читатель оказывается в замке Вальденбург весной 1962 года и знакомится с воспитанниками интерната для мальчиков и датскими ключницами

Гроб опустили в могилу, и светлый лик сестры Розалии навеки исчез под полуметровым слоем бурой земли. Стоящие вокруг могилы люди – большей частью облаченные в черное престарелые монахини – испустили синхронный скорбный вздох и перекрестились. В голове каждой из них текли вязкие, горестные мысли о зыбкости бытия и человеческой недолговечности, отчего эти смиренные служительницы Господни впадали в еще большее уныние. Впрочем, ни одна из них не призналась бы другим в своем малодушии: не тому учили их наставницы и не этого требуют смирение и вера. Мысли твои должны быть неизменно светлыми, а внешний вид – благопристойным. Хоть бы уж дождь пошел! Тогда был бы повод поторопиться и, отбросив на время привычную степенность, быстрым шагом, а то и легкими перебежками засеменить под спасительные монастырские своды.

Вот и еще одну из них призвал Он к себе. Теперь сестре Розалии не придется уж больше делить с ними заботы и тяготы повседневности; отныне гулять ей по райскому саду, слушать дивное пение пестрых тамошних птиц и вкушать сладость сочных плодов, срывая их прямо с растущих вдоль тропинки фруктовых деревьев. Сестра заслужила все это своею добротой, непорочностью и незыблемой верой: почти все свои девьяноста два года истово творила она богоугодные дела, не щадя ни сил, ни здоровья, что и поспособствовало, несомненно, ее столь раннему уходу. Пусть не улыбается читатель при этих словах! Не будучи пораженными серьезными недугами, сестры ордена Петры-Виргинии, в простонародье именуемые просто «датскими ключницами», часто достигали просто-таки чудных лет, и посторонние любители кладбищенских прогулок, взглянув на выбитые на могильных камнях даты, порой просто диву давались.

Сестра Эдит отвела взгляд от подрастающего могильного холмика и обеспокоенно посмотрела на чуть видневшиеся вдали башни замка Вальденбург, где, несомненно, шумели, галдели и переворачивали все с ног на голову оставленные под присмотром одной лишь глухой сестры Веры три десятка сорванцов, воспитание которых – после служения Господу, разумеется – и было основной задачей датских ключниц. Это были дети, у которых почему-то «не заладилось» с родителями или опекунами, «не сложилось» с учителями и духовниками и «не срослось» с переходом из класса в класс их прежней школы. Им было непросто держать в порядке свой внешний вид, тяжело пройти мимо открытого прилавка, не стянув что-нибудь, и уж совсем неумоготу выслушать назидания взрослого человека, не нахамив в ответ. Их журили за оскорбления, лечили от педикулеза, раз за разом ловили на кражах и сажали в клетку «охладиться», но при этом – по стойкому убеждению настоятельницы – продолжали неустанно «целовать в задницу». Это препротивное «целование» заключалось среди прочего в том, что некоторых из них посылали жить и учиться в самое благочестивое из всех мыслимых учреждений – монастырь ордена Петры-Виргинии, да еще и требовали от монахинь сердечности и ласки для этих шалопаев, которым самое место на каторге!

Вспомнив это и улыбнувшись, сестра Эдит для порядка сурово осадилась сама себя и прочла себе короткую, но вразумительную лекцию по поводу отношения к «бедным сироткам», отданным Господом на ее попечение.

А тут как раз и процедура закапывания бранных останков сестры Розалии подошла к концу – на ровном месте вырос еще один увенчанный крестом холмик, и датские ключницы могли теперь отправиться восвояси, радуясь, что дождь так и не пошел. У каждой из них было

еще много дел – божий день продолжался, а обязанности на сегодня отменили лишь для усопшей.

Огибая церквушку, тропинка сбегала вниз, к дороге. Отсюда, с кладбищенского холма, она просматривалась на всем своем протяжении, и Эдит могла видеть растянувшихся по ней цепочкой сестер, группками по две-три фигуры шествующих с процессии домой. Какими одинаковыми они отсюда казались! Словно безобразные гусята, спешащие за матерью, переваливались они с боку на бок, неуклюже вбивая в утопанную почву свои тупоносые ботинки – неизменно носком внутрь. Время от времени одна из сестер останавливалась, чтобы завязать длиннющий серый шнурок, и, нагнувшись, становилась похожей на большой черный гриб-дождевик, внезапно выросший посреди дороги. Из-под шляпы «гриба» тогда торчали два коротких серых столбика – ножки в чулках да белые носочки, натянутые прямо поверх этих чулок. Молодых среди них практически не было, и, допустив чуточку вольности мышления, можно было предположить, что постриг эти дамы принимали уже в солидном возрасте, выжав из жизни и молодости все, что возможно, и возжелав теперь отмолить грехи своих некогда жадных до плотских утех телес. Впрочем, заглянув в просветленные лица монахинь, подумавший такое устыдился бы тотчас своих мыслей и признал бы, что если и есть где-то в мире разврат, то уж никак не в сердцах рабынь Божьих из монастыря Петры-Виргинии.

– Что-то вы сегодня в одиночестве, сестра Эдит? – промурлыкал кто-то у нее за спиной, заставив вздрогнуть. – Ну да, понимаю... Вы ведь успели близко подружиться с нашей дорогой усопшей, не так ли?

Обернувшись на голос, Эдит увидела дородную фигуру монахини с постным лицом, главной достопримечательностью которого были огромные круглые очки с толстенными линзами, увеличивающими размер глаз в несколько раз. Эдит не слышала, как та приблизилась, и почувствовала себя вдруг неловко, словно большеглазая монахиня могла украдкой подслушать ее мысли.

– О, матушка! Вы меня напугали. Я, знаете ли, и вправду была погружена в раздумья. Друзей терять всегда горько, и мне будет недоставать нашей сестры Розалии...

– Как и всем нам, милая Эдит, как и всем! – подхватила та и участливо сжала руку собеседницы чуть выше локтя. – Что поделать! Господь призывает к себе лучших из нас, и наша безграничная скорбь по ним сродни зависти...

– Господь забирает всех, матушка, – чуть улыбнувшись, ответила Эдит. – А завидовать умершим, полагаю, может лишь тот, чье земное существование невыносимо или омрачено ужасными воспоминаниями, не так ли?

– Да-да, конечно, вы правы, – поспешила согласиться мать Теофана, которая, казалось, ничуть не обиделась на маленькую «оплеуху». – Я лишь хотела сказать, что смерть одной из нас – событие, о котором не стоит так горевать, ведь это переход из мира тоскливых будней в безграничный, ясный, полный любви и...

– А это для кого как, матушка, – не очень вежливо перебила Эдит севшую на своего любимого конька настоятельницу. – Боюсь, что некоторым из нас и самыми неустанными молитвами не приблизиться к вратам того «безграничного и ясного», о котором вы говорите.

Взгляд Теофаны помутнел и посуровел под очками, но голос остался подчеркнuto ровным:

– Кого вы имеете в виду, сестра Эдит?

– Никого конкретно, матушка. Но то, что наш орден имеет некоторые... особенности, отрицать нельзя. По большому счету, мы ничего не знаем друг о друге, живем вроде бы общинной, но на самом деле – каждая сама по себе, а недоверие и неискренность прячем под утрированной религиозностью. Попробуйте заговорить с любой из нас о ее прошлом, и вы услышите

кучу цитат из Библии, призывов к смирению и упований на Всевышнего. А увенчает все это размашистое крестное знамение.

Настоятельница посмотрела на нее недоуменно:

– Что с вами, сестра? Право же, я вас не узнаю! Должно быть, смерть нашей дорогой Розалии так потрясла вас, что вы не совсем отдаёте себе отчет в том, что говорите. Неужели же ваши рассуждения о неясном прошлом наших сестер распространяются и на усопшую? Не станете же вы и в самом деле сомневаться в чистоте и непорочности этого добрейшего создания, всю свою жизнь посвятившего заботе об увечных и обездоленных?

– Нет, конечно, матушка, не стану. Однако уверены ли вы сами, что определение «добрейший» подходит тому, кто десятилетиями издевался над воспитанниками, истязая их плоть и душу, и занимался травлей молодых монахинь за их мнимые прегрешения? И применимо ли слово «непорочность» к женщине, имеющей такой шрам во всю ягодицу, что был особой приметой нашей дорогой Розалии?

От возмущения матушка Теофана замерла посреди дороги и, тяжело дыша, воззрилась на бесстыжую монашку, разрешившую себе неслыханную вольность.

– Да что с вами сегодня, в конце концов?! Грешно позволять себе говорить такое про покойницу, чье тело еще не тронули черви! Да и при чем тут шрам? Всем известно, что это были следы давнего ожога...

Губы сестры Эдит искривились в усмешке.

– Верно, ожога. Кто же спорит? Да только ожог этот появился у Розалии не от огня камина или раскаленной печки, а от кислоты, которой «завязавшие» шлюхи квартала Римбо в конце прошлого века удаляли типовые татуировки – эмблемы борделей, к которым они были приписаны. Татуировки эти делались в обязательном порядке, словно тавро лошадям, только, понятно, не на лбу, а в более пикантном месте, и должны были красоваться там всю жизнь. Однако по выходе дамочки «на пенсию» эмблема начинала мешать – ведь почти каждая из них намеревалась еще найти себе мужа, а искать великодушного героя, способного «понять и простить», – занятие муторное и к успеху, как правило, не приводит... Вот и приходилось прибегать к кислоте – единственному известному в тех кругах средству. Ну, а те, кому с замужеством не повезло и после выжигания татуировки, подавались, натурально, в монастыри, где могли продолжать общественную жизнь, занимаясь нравственным воспитанием послушниц и сирот. Ну, так как же быть с чистотой и непорочностью усопшей сестры Розалии, матушка?

У Теофаны был такой вид, будто ей на шею накинули удавку. Она изумленно воззрилась на обычно молчаливую и всегда такую покладистую сестру Эдит, не зная, как реагировать на ее слова. С одной стороны, она не могла оспорить сказанного, с другой же... Ведь существуют устав монастыря и неписанные законы монашества, не позволяющие вот так, запросто, говорить то, что вздумается! Если каждый начнет беспрепятственно изливать свои мысли и фантазии, то скоро вся обитель ордена Петры-Виргинии превратится в этот... как его... квартал Римбо!

Настоятельница подавила в себе гнев и попыталась вразумить распоясавшуюся сестру:

– Даже если все то, что вы сейчас сказали, правда, – что нам до того? Разве не грешницы всегда приходили в лоно монастырей, насытившись искусствами и злобой мира? Разве не являются основой монастырской жизни молчание о прошлом и забвение былых страстей и страданий в молитвах о спасении души?

– Вы правы, матушка, – понурилась пристыженная Эдит. – Но, к прискорбию, человек – создание любопытное и редко находит истинное удовольствие в молчании и неведении. Ну, а уж о тех, кто рядом с нами, мы непременно желаем знать побольше, не так ли? Кстати, откуда вы родом, матушка Теофана?

Настоятельница вдруг зашлась в приступе кашля, да таком, что из-под очков потекли слезы. Прокашлявшись, она изрекла:

– Ваши нападки сегодня поистине чудны, сестра Эдит. Но я промолчу. Помните, что сказано в Писании? «...И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился...». Так что оставьте и вы вашу гордыню, сестра! Смиритесь с бренностью нашего существования, и да поможет вам Господь!

Вид у Теофаны был торжественный и суровый.

– Вы что-то забыли, матушка.

– Да? Что же?

– Осенить себя крестным знаменем.

И сестра Эдит, свернув с дороги к воротам монастыря, чуть приподняла подол, чтобы не замочить его в оставшейся после вчерашнего дождя луже.

Никто уж не скажет точно, когда был воздвигнут замок Вальденбург в одноименном местечке, но то, что это произошло в самую что ни на есть седую старину, не вызывает сомнений. В эпоху раннего Средневековья, когда лесные просторы, поля и холмы по берегам нашего Дуная то и дело наполнялись лязгом ломаемых копий, плачем беззащитных крестьянок и свирепым ревом завоевателей, сохранить хотя бы видимость мощи и солидности без такой вот крепости было немыслимо. Однако ни стены толщиной в человеческий рост, ни зоркие наблюдатели, ни даже беспримерная хитрость тогдашних хозяев не могли воспрепятствовать беспощадной истории, и первая официальная запись о замке, сделанная рукой неизвестного писца в 1330 году, гласит, что Вальденбург был покорен неким епископом и передан в дар тогдашнему баварскому герцогу. Кто был при этом повержен и за какие такие заслуги герцогу было сделано сие пожертвование, писцом не упоминается.

Далее известно, что в 1381-м крепость в пожизненное пользование получил некий ландграф Иоганн Лойхтенберг, а в 1396-м – Вильгельм Пухбергер. Сын последнего после смерти отца продал замок своим племянникам Георгу и Азаму цу Винцер, а сей Азам, ставший впоследствии единоличным владельцем крепости, уступил эту недвижимость в 1435 году епископу из Пассау Леонарду за две тысячи восемьсот дукатов. Эта сомнительная сделка была, однако же, двумя годами позже аннулирована, и господином замка стал один из сыновей Азама по имени Хартлиб. Никто не вечен, и после кончины Хартлиба в 1460 году его дочь, красавица Элизабет, немедля сбыла Вальденбург неким Шварценштайнерам, причем сделке этой, если верить летописям, предшествовала довольно таинственная и даже страшная история: в округе якобы завелся кровожадный убийца, а младший сын Хартлиба исчез при загадочных обстоятельствах. Продав замок, Элизабет пропала, а далекий потомок упомянутых Шварценштайнеров по имени Ортольф девяносто лет спустя приказал превратить крепость в пышную резиденцию...

Удивительную цепочку покорителей, покупателей и наследников можно продолжать и дальше, рискуя свернуть себе шею в этом пасьянсе. По большому счету, история замка ничем не отличается от истории других средневековых построек и особого интереса не представляет. Однако в связи с нашим повествованием следует все же упомянуть о том, что, претерпев череду изменений и повидав немало удивительных времен и людей, Вальденбург сгорел в 1848 году, но вскоре был вновь отстроен приобретшим его за двадцать две тысячи гульденов епископом Генрихом фон Хофштеттером, который, в свою очередь, безвозмездно передал его в 1860-м ордену Датских Ключниц. Ну а эти матроны, скрывающиеся под своими длинными черными подолами разномастные ожоги и бог знает что еще, основали в замке «Воспитательный дом для запущенных мальчиков», ставший позднее «Школой сирот», а в двадцатом веке – «Интернатом для трудных подростков мужского пола». Вот видите – все просто.

Надо сказать, что само здание очень подходило для этой благой цели: состоящее из двух строений и крытого перехода между ними, оно позволяло без особых хлопот сосуществовать

шумным мальчишкам, обитающим в так называемом Нижнем замке, и степенным «невестам Господним», что проживали и вели свое хозяйство в замке Верхнем, доступа в который воспитанники интерната, само собой, не имели.

Устав монастыря не был очень жестким, и монахини относились ко многим своим повинностям с изрядной прохладцей. Однако же обязанность непрерывного и основательного контроля за созреванием юных душ своих воспитанников сестры ордена Петры-Виргинии свято чтили. Многие из этих бывших светских дам весьма буквально поняли старый принцип воспитания, гласящий: «Терзая тело, спасай душу!», – и с тщанием, близким к остервенению, применяли его на практике. Неизвестно, приносило ли это свои плоды и способны ли были такие методы уберечь юнцов от подстерегающих их во взрослой жизни несчастий, но прозвище «петровиргинки беспрестанного издевательства» (должно быть, по аналогии с бернардинками неустанного поклонения) черно-белые ключницы себе снискали. Ироничное это определение за годы воспитательной политики монахинь столь крепко приклеилось к сестрам, что никто во всей округе – от Фраунга до самого Пассау – их иначе не называл, и даже сам епископ, обращаясь однажды к монахиням с напутственным словом по случаю какого-то праздника, начал со слов: «Дорогие мои петровиргинки!», – после чего, правда, смутился и поправил себя.

Жесткие методы воспитания не являлись в те годы чем-то необычным, да и в чужой монастырь, как известно, не резон являться со своим уставом, так что нападки со стороны общества монахиням не грозили, а показная набожность и гротескная самоотверженность этих дам избавляли их от необходимости жить по совести, так что будни Вальденбурга текли размеренно, однообразно и без «выходящих за рамки дозволенного происшествий», как любила повторять мать-настоятельница. Единственным, по сути, настоящим развлечением монахинь являлись, как и прежде, смерть одной из них и связанная с нею погребальная суэта.

Внутреннее убранство нижней части замка, в которой находился интернат для мальчиков, суровостью обстановки и мрачной палитрой красок почти не отличалось от нутра верхней его части – резиденции самих датских ключниц. Как и там, стены здесь были покрыты толстым слоем бордовой эмали, от сырости местами облупившейся, серый камень пола изобиловал вековыми неровностями, а скрывающиеся во мраке потолки были такими высокими, что свет тусклых желтых лампочек до них просто не доставал. Окна же неизвестный архитектор велел пробить где попало, на разной высоте и без всякой симметрии, словно был пьян или стремился побыстрее закончить планировку уродливого здания. Большинство из них представляли собой узкие, едва заметные снаружи бойницы и находились в самых что ни на есть непригодных местах, не давая ни света, ни воздуха. Разной ширины коридоры пересекали замок вдоль и поперек, давая неограниченную свободу всем мыслимым ветрам, сквознякам и завихрениям, возникающим неизвестно где и носящимся по монастырю в своем бесцельном танце. Впрочем, до некоторых закоулков им было не добраться, и там царили вековая затхлость и густой могильный смрад, поднимающийся из неизведанных подвальных глубин бывшей крепости Вальденбург.

Основное отличие Верхнего замка от Нижнего было в том, что делился он на множество небольших помещений, поналяпанных-понаделанных здесь по заказу духовенства относительно недавно, в конце девятнадцатого века, и служивших монахиням кельями, без которых сестры не могли обойтись, словно классический вампир без гроба. Интерната же архитектурные переделки почти не коснулись, и панцирные койки воспитанников стояли аккуратными рядами в огромной зале, наполненной криками и хохотом ребят по вечерам и хлопаньем крыльев летучих мышей ночами. Койки были относительно недавним, уже послевоенным подарком земельных властей, придумавших наконец, куда девать скарб и барахло из расформированных казарм, а летучие мыши остались в наследство от ушедших во тьму веков, когда замок

Вальденбург жил совсем другой жизнью, интересовавшей юных воспитанников интерната куда больше, нежели школьные дисциплины и нравоучения занудных монахинь.

Каждый, кто попадал сюда, мгновенно оказывался под впечатлением, создаваемым этими суровыми древними стенами, гулким каменным полом, вышарканным за века тысячами ног, узкими окнами-бойницами, изнутри имевшими форму широкого клина, и писком летучих мышей – перепончатокрылых любовниц ночных страхов. Про этих животных ходили особые легенды, передаваемые из поколения в поколение воспитанниками интерната в почти неизменном виде. Легенды тем более жуткие, что они, несмотря на всю свою несуразность, почему-то очень походили на правду...

Одна из них гласила, что летучие мыши – и не мыши вовсе, а воплощения старых монахинь, которым Бог за жестокость и ненависть ко всему существу не велел наслаждаться посмертным покоем и приказал вечно хлопать перепончатыми своими крыльями и пищать под крышей замка, прячась от света и ненавидя смех и веселье. Именно поэтому, как думали многие, летучих тварей так редко находили мертвыми – им-де не подыхать полагается, а мучиться и терзаться до конца времен, гоняясь за насекомыми и крысами. Читатель может улыбнуться наивности мальчишек, но вынужден будет признать, что от этой легенды была и немалая польза: веря в то, что злобных монахинь рано или поздно настигнет заслуженная кара, «трудные подростки» с большей стойкостью сносили отвратительные методы воспитания, которые применялись датскими ключницами. А состояло то воспитание из представленных длинным списком телесных и душевных мук, каждую из которых полагалось назначать за определенный тип провинности. Все наказания подразделялись на три большие группы, что в глазах выпестованных уставом монашек способствовало сохранению «педагогической структуры». Итак.

Комплекс наиболее легких мер именовался *пожурением* и состоял из окриков громовым голосом (что в исполнении некоторых тучных, полных жизненной энергии монахинь было не так уж и безобидно), шипящего, пронизанного ненавистью внушения (практиковавшегося особами болезненными и изможденными) и – при чуть более серьезных провинностях – выставлении преступника перед всеми воспитанниками на вечернем или утреннем построении, когда на него уже орали благим матом все кому не лень. К *пожурению* относились также всевозможные угрозы – от запугивания маленького нечестивца жарким адом и вселением в него кого-нибудь из бесов (чьи имена петровиргинки запоминали целыми списками) до банального обещания оторвать ему яйца, если он, гаденыш, еще раз вздумает пуститься вприпрыжку мимо алтаря, сунуть нос в ризницу или не помыть уши перед ужином. Угроза с яйцами, заметим, применялась в основном теми монахинями, чьи тела хранили следы, о которых недавно толковала сестра Эдит матушке Теофане.

Вторая группа воспитательных мероприятий в интернате именовалась *увещанием*, которое заключалось в лишении проказника обеда или ужина (чаще, впрочем, и того и другого) и в определении его на несколько часов, а то и на целый день в один из казематов, расположенных в подвале монастыря. Когда-то, должно быть, в этих мрачных подвальных клетушках содержались узники владельцев замка, заточенные сюда за долги или провинности, или даже жертвы средневековой инквизиции! А быть может, именно здесь произошло...

Но стоило только несчастному мальчишке-узнику мысленно добраться до того предположения, которое мы сейчас побоялись высказать и заменили многоточием, как он, забыв обо всем на свете и срывая в крике голос, принимался колотить в шершавую, влажную дверь каземата, моля о прощении и клянясь впредь исправно и вовремя стирать белье и чистить башмаки не только сестрам Бландине, Азарии и Ойдокси, но и самому черту (который представлялся ему в тот момент их родным братом). Тогда его, как правило, выпускали и смеялись над ним, рассказывая всем подряд о его «недостойном доброго маленького христианина поведении». Впрочем, те воспитанники, что не обладали богатым воображением и философским складом ума, без особого расстройств высиживали в каземате отведенное им время и покидали его

гордо, приобретая право говорить о сестрах и их «вонючих выдумках» с долей пренебрежения. Таким парнишкам *увещевание* не приносило никакой видимой пользы, а только лишь кашель, ломоту в костях да простатит, который проявит себя позже. Иной раз этот вид наказания усугублялся зуботычиной-другой или шлепком по роже открытой ладонью, но тем все и заканчивалось.

Совсем по-другому обстояло дело с грубыми нарушениями установленных порядков, а также в тех случаях, когда ни *пожурение*, ни *увещевание* не уберегли проказника от рецидива. Такому негодяю присваивался статус «настоящего злыдня» и назначалась кара из третьей группы наказаний, которую мать-настоятельница с причмоком именовала *вразумлением*. Тут богатого выбора не было: *вразумлялись* провинившиеся почти всегда одинаково – гибкой, взвизгивающей при каждом взмахе розгой, ядовитой медузой въедающейся в кожу и обнимающей торс пронзительной болью. После первого же удара глаза «преступника» начинали брызгать слезами, а после шестого – переставали что-либо видеть, кроме красной, как огонь, и густой, как кисель, пелены – занавеса страдания.

Однако при наличии природной смекалки можно было разнообразить и это «удовольствие»: сестра Азария, к примеру, однажды высекла пойманного полицией беглеца по икрам ног, дабы отучить эти ноги носиться где ни попадя, а тощая, страшная как смерть Ойдоксия *вразумляла* одного из маленьких пакостников хлесткими ударами по рукам, норовя при этом опускать розгу на ногти, так как он эти самые ногти нещадно грыз, а проведенное *увещевание* ощутимых результатов не дало. Но самое извращенное удовольствие здесь получила как-то сиплоголосая, пышная сестра Бландина, замахнувшись розгой, но не ударив. Довольно захохотав, она милостиво позволила опроставшемуся от страха восьмилетнему мальчонке «уползти отсюда к чертовой матери».

Единственной датской ключницей, которая никогда никого не *журила*, не *увещевала* и не *вразумляла*, была сестра Эдит.

Теперь читателю нетрудно понять, почему легенда об обращенных в летучих мышей монахинях находила столь горячий отклик в сердцах их умственно незрелых жертв. Не имея права постоять за себя, многие воспитанники находили утешение в идее отмщения свыше. А что еще им оставалось? Набожность и благие намерения монашек ни у кого из посторонних не вызывали сомнений, а потому всякие попытки искать справедливости или жаловаться на сестер были заранее обречены на провал и грозили еще более суровой карой. Но оставлять черно-белых воспитательниц безнаказанными мальчишкам жуть как не хотелось, а потому петровиргинки просто обязаны были перевоплощаться в маленьких уродливых существ.

Дети постарше, конечно же, догадывались о сказочной природе этих рассказней, перемигивались между собой и всю потешались над малышами, которые верили всем этим байкам безоговорочно и искренне трепетали перед монахинями и их писклявым «посмертным воплощением». Это отношение можно проиллюстрировать одним столь же забавным, сколь и грустным примером.

Восьмилетний Андреас, выброшенный пьяницами-родителями на улицу и уже прошедший все круги ада на помойках, в приютах и богадельнях, настолько проникся идеей превращения датских ключниц в летучих зверьков, что, случайно обнаружив в каком-то закутке покалеченного перепончатокрылого уродца, сначала пытался выходить его, заглядывая в маленькие свирепые глазки и именуя сестрой Лоттой, а затем, полностью убедившись в беспомощности мыши, устроил ей основательное *увещевание*, заточив в банку из-под растительного масла и закрыв крышкой. Банку он спрятал в заброшенной части Нижнего замка и регулярно навещал узницу, требуя раскаяния и угрожая *«вразумлением»*. До этого, впрочем, дело не дошло, так как «сестра Лотта» не вынесла заключения и издохла в банке от недостатка кислорода, сохранив на своей уродливой мордочке гримасу злобы и ненависти ко всем и вся. Несколько недель несчастный Андреас ходил сам не свой, пребывая в уверенности, что убил монахиню (насто-

ящая сестра Лотта, кстати сказать, уже полных два месяца лежала в гробу и вряд ли представляла, какую несказанную муку пришлось за нее принять ее мнимому воплощению). Ожидая мести ее пищащих под сводами замка «сестер», перепуганный мальчонка ударился было в бега, но уже на следующий день был изловлен в Пассау, приволочен назад и основательно *вразумлен* сестрой Азарией. После экзекуции он сник, возлюбил своих наставниц и стал молча дожидаться случая пересажать их всех до единой в свою банку из-под растительного масла.

Глава 2

О новом обитателе интерната, великопепной сестре Бландине и легких междуособных распрах

Разговор с сестрой Эдит после похорон старухи Розалии покорибил настоятельницу, но Теофана была привычна к ее эксцентричности и не особенно удивлялась. В конце концов, склонность рассуждать и критиковать не мешала Эдит быть доброй христианкой и образцово исполнять возложенные на нее обязанности. Гораздо большей проблемой была, с точки зрения Теофаны и ее приближенных, мягкотелость Эдит по отношению к этим дикарям-воспитанникам. И что она с ними цацкается? Подумать только – за все шесть месяцев, что она здесь, ни разу никого не *пожури*ть, не говоря уж о более действенных методах воспитания! Сорванцы ей скоро на голову сядут, чувствуя безнаказанность! Если будет продолжать в том же духе, то как бы не пришлось поставить вопрос об отстранении ее от работы в интернате... Матушка вздохнула и поплелась по дорожке к зданию монастыря, сокрушенно качая головой и предаваясь невеселым думам.

В холле для посетителей аббатису дожидался одетый в серую дорожную пару господин, длинный, как жердь, и ужасно сутулый. Судя по тому, с каким спокойствием он прохаживался из угла в угол, заложив руки за спину и разглядывая трещины в каменном полу, человеку этому было привычно ожидание и он не считал час-другой большой потерей. Разумеется, ему сообщили, что монахини в полном составе – за исключением разве что глухонемой сестры Веры, оставленной на растерзание оголтелой мальчишечьей своры – ушли на кладбище, и он понимал, что всякие просьбы поторопиться выглядели бы не только бестактностью, но и кощунством.

– О! Господин Хофер! Это вы! – на лице аббатисы мгновенно возникла маска доброжелательности с примесью радости и легкого удивления. – Какой сюрприз, должна я вам сказать! Вы не звонили...

– Да, да, мать настоятельница, все так, – закивал тот, подсакивая к Теофане и протягивая ей свою маленькую сухую ладошку. – Не звонил. Однако же прошу простить меня: известие о том, что его уже можно забирать, мы получили только сегодня утром и тут же выехали в Панкофен. Ну, а там, сами понимаете – оформление, подписание, прочие проволочки... Бюрократия, одним словом.

– Да уж, это вы верно заметили, господин Хофер! Бюрократия у нас теперь процветает – горестно откликнулась Теофана, и взгляд ее увеличенных линзами глаз стал еще более грустным. – Хотя, должна заметить, простотой ваши чиновники и раньше не отличались. Вечно у них то того не хватает, то этого...

– Почему же *наши* чиновники, матушка? Разве вы не...

– О нет, нет, увольте! – настоятельница поводила облаченным в шерсть перчатки указательным пальцем перед самым носом Хофера. – Мы здесь люди Божьи, и ваши мирские дела интересуют нас постольку-поскольку, так сказать...

– Ну, ладно, ладно, – не стал спорить посетитель, прекрасно зная, что добрая аббатиса лукавит. – Я здесь, собственно, не за тем, чтобы говорить о чиновниках.

– Да уж понимаю. Речь идет о том душевнобольном парнишке, что напал на своих родителей?

– Именно о нем! Представляю, как это было ужасно! К тому же он еще и подворовывал в магазинах. Тащил по большей части всякое барахло, но случалось, что и спиртное...

– Вот как?

– Именно так, матушка.

– Выходит, он – малолетний алкоголик?

– Не то чтобы... Он, скорее, не от мира сего, если вы понимаете, о чем я. В общем, всего помаленьку – и социальных, и психических проблем. Ну, что скажете?

– Что я тут могу сказать, господин Хофер? Только то, что скоро наш монастырь превратится в приют для уродов и извергов всех мастей, прости меня, Господи!

Довольный, что стал свидетелем несвойственного слугам Божьим сквернословия, приезжий крикнул и заулыбался:

– Ну что ж, давайте приступим к оформлению? Я привез все бумаги.

С этими словами Хофер, занимающий должность районного инспектора по делам детства и юношества, подхватил свой оставленный в стороне портфель и вопросительно посмотрел на Теофану.

– Ох, простите, господин Хофер! Со всеми этими похоронными делами становишься такой рассеянной. Конечно же, давайте пройдем ко мне в кабинет и все это зарегистрируем!

Предложив посетителю разместиться в выдавшем виды кресле напротив себя, аббатиса извлекла из огромного стенового шкафа пустую папку, которой предстояло теперь наполниться материалами о новом воспитаннике. Мгновенно преобразившись из жрицы в крючкотворку, Теофана приступила к своим бюрократическим обязанностям. Такова уж природа современного общества-маскарада: от каждого своего члена требует оно искусства быстрой смены масок, а главное – их наличия. Компетенция в какой-либо одной функции не считается уж достаточной, и умение преображаться в полную свою противоположность перестало быть отличительной особенностью мифических оборотней. Уже не приходится удивляться, обнаружив за пазухой деспота членский билет благотворительного общества, в складках монашеской сутаны – диплом бухгалтера, а в широком рукаве врачебного халата – секиру ката. Что там сказочное превращение избалованной княжеской дочки в летучую мышь, в которое с легкой руки сестры Эпифании так верят глупые мальчишки! В современном мире мы ежедневно сталкиваемся с преобразованиями куда более разительными и непредсказуемыми, чем эта безобидная выходка!

– Что-то я не вижу среди бумаг выписки из психиатрической лечебницы. Или вам не дали ее в Панкофене?

– Ох, простите, запамятовал! Я сунул ее за пазуху и... вот, пожалуйста!

С этими словами Хофер извлек из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо лист бумаги и протянул его аббатисе. Та, наморщив лоб, начала внимательно изучать документ. Через некоторое время она выразительно хмыкнула и перевела взгляд на социального работника.

– Тут написано, что он страдает сомнамбулизмом. Стало быть, ходит во сне?

– Раз там так написано... Мне, матушка, недосуг было вникать в эти нюансы, у меня другая работа.

– Да, да, конечно... Но все-таки, прежде чем подбирать своим подопечным учреждение, неплохо бы убедиться, что оно соответствует потребностям ребенка. У меня здесь нет возможности караулить его по ночам и следить, чтобы он не свалился в какую-нибудь яму, когда начнет шараться по темным коридорам.

– А что, у вас тут много ям, госпожа Теофана? – мужчина начал испытывать нетерпение, стараясь, впрочем, его не показывать. От прозорливой настоятельницы это не укрылось.

– Не нужно нервничать, господин Хофер. Речь идет о ребенке, которого вы оформляете на наше попечение, и не след решать его судьбу огульно. А что до ям... Это, как вы помните, довольно старая крепость, и некоторые ее части не только не приведены в порядок, но просто заброшены. Поэтому нет ничего удивительного в том, что нам здесь приходится быть осторожными при передвижении, особенно в темное время суток.

Пристыженный социальный работник поспешил извиниться и заверить Теофану, что, конечно же, полностью с нею согласен и просто не подумал обо всем этом. Но он, к сожалению, лишь рядовой служащий и не принимает участия в решениях о распределении. Посему, ежели матушке угодно, она может связаться с его начальником и выразить тому свое негодование, а пока...

Теофана властным жестом остановила поток красноречия Хофера, понимая, что все это – пустые слова и ни с каким начальником у нее связаться не получится. Она была умным человеком и знала, что ворчание и выражение недовольства ровным счетом ничего ей не принесут. Это было бы сродни пререканию с правительством рейха двадцать лет назад.

– В этом плане изменилось не так уж и много, – подумала она вслух.

– В каком плане, матушка?

– Ах, забудьте!

Заполнив несколько формуляров, под которыми Хофер поставил уверенную, но неразборчивую чиновничью подпись-закорючку, матушка Теофана убрала папку в шкаф и изобразила на лице усталую улыбку человека, выполняющего свой долг несмотря ни на какие трудности.

– Ну, что ж, господин Хофер, а не взглянуть ли нам теперь на нашего нового воспитанника? Надеюсь, вы хорошо обращались с ним в пути?

– Что вы, что вы, дорогая настоятельница! – обрадованно подскочил приезжий. – Как можно сомневаться? Да тут и пути-то всего ничего... Мальчик в машине.

– Угу.

Демонстрируя невиданные сердоболые и участие, аббатиса самолично проследовала за социальным работником к небольшому фургону, украшавшему своими темнозелеными облупленными боками ближайший от ворот угол монастырского двора. С начавшимся экономическим бумом количество автомобилей заметно выросло, и даже церковные власти – самые консервативные и не терпящие новшеств – вынуждены были признать необходимость такой банальной вещи, как места для парковки. Орден Петры-Виргинии не остался в стороне, и обитель Вальденбург получила собственную расчищенную бульдозером площадку для этой цели. На этой-то площадке и дремал сейчас фургон социальной службы. Одно из колес автомобиля было мокрым, из чего следовало, что водитель исполнил указание Хофера никуда не отлучаться и справил малую нужду в непосредственной близости от своего рабочего места.

Угодливо забежав вперед, Хофер распахнул перед настоятельницей дверцу фургона, жестом предлагая заглянуть внутрь. Та, стараясь держать спину прямой, слегка наклонилась и взгляделась в царящий там полумрак.

На заднем сиденье, вжавшись в угол и зачем-то крепко сжимая на груди лацканы старенького засаленного пиджачишки с чужого плеча, сидело самое тощее, невзрачное и несчастное существо, которое Теофана приходилось видеть с конца Первой мировой войны. Но если тогда подобная измученность была следствием голода и разорения, то сегодня жизнь должна была как-то особенно изощренно поглумиться над человеческим сыном, чтобы довести его до такого состояния. Парнишка напоминал изломанную в нескольких местах жердь с торчащими в разные стороны сучками локтей, коленей и острого подбородка, сразу под которым, как показалось Теофана, ходил вверх и вниз такой же острый кадык. У нее мелькнула мысль, что в тринадцатилетнем возрасте еще не должно быть никакого кадыка и он, должно быть, заметен лишь на фоне общей истощенности подростка.

Стоял конец апреля. Несмотря на грозящий пойти дождь, было довольно тепло, но все же не настолько, чтобы вспотеть. Волосы же парнишки прилипли ко лбу и щекам и, взглянув на аббатису, он быстро промокнул глаза рукавом своего замызганного пиджака, слово их застилал пот. А может, слезы? С чего бы это?

Всем своим видом вновь прибывший напомнил настоятельнице тощую бездомную собаку – загнанную в угол, перепуганную и изголодавшуюся, зыркающую по сторонам страшными глазами и готовую в любой момент вцепиться вам в глотку. Впрочем, добрая Теофана могла все это себе навоображать.

Рядом с мальчиком на сиденье лежала холщовая сумка, в полутьме фургона казавшаяся черной. В сумке, судя по очертаниям, находилось что-то, размерами не превосходящее пару трусов да майку. Это и были немудреные пожитки мальчугана, его, так сказать, приданое из отчего дома (позднее окажется, что и это драное барахло он получил в милость от Красного Креста, пока лежал в больнице). Не отпуская лацкан пиджака, он время от времени кусал ноготь большого пальца правой руки, для чего ему приходилось наклонять набок голову и демонстрировать настоятельнице свою тощую (и наверняка немытую) шею.

– Здравствуй, – изрекла мать Теофана, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно мягче и не раздражал психически нездорового юнца. – Тебе не нужно бояться, глупыш, теперь ты дома (многие взрослые почему-то убеждены, что легкие оскорбления наподобие «глупыш», «дурачок», «чертенок» или «бестолочь» придают сердечности их тону).

Парнишка хотел ответить на приветствие, но в горле его лишь что-то пискнуло, словно у непрокашлявшегося бронхитика, и он еще сильнее вжался в спинку сиденья.

– Ты слышал, что я сказала? – поведение новенького начинало раздражать Теофану. – Тебе не надо тут никого бояться. О тебе позаботятся. Сейчас ты возьмешь свое барахло и пойдешь в холл. Там сестра Вера покажет тебе, что делать дальше. Понятно?

Мальчик кивнул. Чего уж тут непонятного? Подхватив холщовую сумку, он вылез из фургона.

– Как тебя звать?

На сей раз совладав с собой, он выдавил:

– Вилли Кай.

– Хм... Мне вовсе необязательно знать все твои имена, достаточно того, каким тебя обычно кличут.

– Меня кличут Вилли. А Кай – это фамилия. Я подумал, что вам захочется ее знать.

«Тьфу ты, черт! Я ведь знала это из документов...»

– Очень хочется, Вилли. Ну, ступай. Да смотри, не вздумай дразнить сестру Веру! Она глухонемая.

Паренек взглянул на аббатису с таким недоумением, что той стало неловко за нелепость высказанной мысли. Она поняла, что парнишка не только не собирается дразнить кого-либо, но и понятия не имеет, как это делается. Немного смутившись, Теофана развернулась и быстрым шагом направилась к служебному входу – двери, прорубленной в переходе между Верхним и Нижним замками, в монастырском обиходе именовавшемся «Центральной Америкой».

Господин Хофер, дав Вилли парочку напутствий из разряда «Будешь вести себя, как идиот, – сгниешь в дурдоме!», похлопал его по плечу, взгромоздился на высокое сиденье рядом с водителем и отбыл творить добро. Подросток уныло посмотрел вслед фургону и поплелся к зданию, откуда ему уже махала рукой невысокая полная женщина, все свои мысли и чувства привыкшая выражать жестами.

Как мы уже упоминали, переход, соединявший обе части бывшей крепости, именовался среди монахинь и воспитанников «Центральной Америкой», причина чего любому невежде становилась ясна при взгляде на географическую карту, висевшую в фойе. Какой-то остряк пробовал было распространить американскую аналогию и на другие части монастыря, но ни «Северная Америка», ни «Южная» не прижились, и деление замка на Верхний и Нижний осталось прежним.

«Центральную Америку» в начале пятидесятых подремонтировали и снабдили водяным отоплением, трубы которого тянулись вдоль выкрашенных темно-синей эмалью стен, дилетантски оштукатуренных и потому довольно неровных. Стены эти были чуть наклонены и образовывали с полом острый угол градусов в семьдесят пять, что усложняло размещение на них плакатов и вывесок с назиданиями. Это обстоятельство очень огорчало сестру Азарию, которая, будучи ответственной за информацию и всякого рода наглядные пособия, стремилась любое свободное место украсить цветным плакатом или поучающей памяткой. Ее старательность на этом поприще стала предметом насмешек воспитанников, и аккуратно написанные и расклеенные по стенам указания типа «Думай о чистоте рук!» или «Не забудь погасить свет!» быстро дополнились наспех начертанными пародиями вроде «Заботься о снятии штанов перед тем, как погадать!» и «Перед отходом ко сну одари поцелуем морщинистую задницу бабушки Азарии!» Узрев листок с последним призывом, сестра Азария пришла в бешенство и долго *журила* и *увещевала* каждого, кто, по ее представлениям, мог быть причастен к сей гнусной выходке. Настоящий же автор пресловутого воззвания так и не был обнаружен.

Если зайдешь в переход с улицы (именно за этой дверью, называемой служебной, и скрылась мать-настоятельница, поприветствовав новичка), то сразу уткнешься носом в большой, криво приклеенный плакат, изображающий потрепанную собаку с высунутым розовым языком, бегущую в сторону Нижнего замка. Надпись под животным гласила «Тебе туда!», имея в виду, конечно же, воспитанников, для которых доступ к монашеским кельям был закрыт. Однажды какой-то инспектор поинтересовался у Азарии, почему она в качестве иллюстрации выбрала именно измученную собаку, и та, сделав скорбное лицо и промокнув платком несуществующую слезу, рассказала ему трогательную историю о том, как в детстве ей приходилось подкармливать и обогревать бездомных щенков и как живо напомнили ей «бедные сиротки» о тех временах. Спрашивающий остался доволен объяснением, у мальчишек же никто так и не поинтересовался, видят ли они себя бездомными собаками, нуждающимися в подкармливании сестрой Азарией. Как бы то ни было, плакат остался висеть, хоть и подпорченный несколькими плевками.

В двух метрах справа от плаката начинался спуск в подземелье. Древние, с выщербинами, каменные ступени – чем глубже, тем все более и более влажные – вели в дышащую плесенью и страхами утробу замка. Несколько помещений подвала, ближайших к выходу, были приспособлены под кладовые и хранилища, остальная же часть подземелья не была освоена. Да и кому захотелось бы пробираться с фонарем по лабиринту давно заброшенных, затхлых, с островками болотной слизи на полу коридоров, каждый из которых мог окончиться пропастью или, того хуже, старой жуткой могилой? Последнего здесь боялись больше, так как монастырь, как мы помним, был населен женщинами и мальчишками, а кто же больше них подвластен чарам страшных историй? Поэтому забредать дальше «обжитых» территорий никто не решался (одна лишь сестра Магда, гонимая вечным чувством голода, проходила немного вглубь подвала, чтобы спрятать в одном из боковых коридоров принесенную из города провизию и поесть ее там в часы отдыха, полагая, что Теофане неведомы ее чревоугоднические повадки). Да и просто копошиться в грязи монашкам было противно, а мальчишкам не резон. Пару лет назад подвал попытались привести в порядок, но далеко не пошли – дорого и бесперспективно. Ограничились тем, что проложили там парочку труб, ведущих из отхожего места в септическую яму за стеной здания, да вынесли несколько носилок земли, мешавшей проходу. Именно это последнее мероприятие и оголило древнюю решетку, за которой всегда голодная сестра Магда оборудовала новый тайник и нашла старую литую гравюру.

В общем, романтики в сыром грязном подземелье было немного, а для вверенных опеке датских ключниц мальчишек и подавно: ведь именно там, в десятке шагов от лестницы, располагались «казематы» – глухие, напитанные влагой и тошнотворным запахом плесени помещения, в одном из которых была сооружена темница, а в другом находились топчан и стул

для телесных истязаний, обитые потрескавшейся от старости клеенкой. Там же – по стенам и на старой этажерке – в беспорядке лежали и висели розги, ремни и другие приспособления, необходимые для *вразумления*, так что соваться туда по доброй воле мало кому хотелось.

Симметрично входу в подвал, с другой стороны от нарисованной собаки, находилась душевая для воспитанников, которую они же сами и убирали. Эта промозглая большая комната с висящими, словно плети, шлангами вдоль стен, из которых всегда сочилась вода, и сама напоминала бы темницу, если бы не два небольших окна, пропускающих сюда какой-никакой свет и воздух. В углу имелась чугунная печурка на случай морозов, которая топилась чем попало и ужасно чадила, но была незаменима зимою. Не будь ее, вода в шлангах наверняка замерзла бы, сделав обязательную еженедельную помывку невозможной.

Впрочем, не все было так плохо. Когда вваливаешься в душевую веселою гурьбою, дурачишься, играешь в салки и хлещешь друг друга жесткими волосяными мочалками по роже и хребту, то поневоле разогреваешься и перестаешь чувствовать холод, а если приглядывать за помывкой посылали сестру Веру (что чаще всего и случалось), то можно было расплескивать столько теплой воды, сколько душа пожелает, не боясь окрика или оплеухи. Глухонемая дурочка (почему-то пожилых глухонемых женщин часто принимают за дурочек, что далеко не всегда соответствует истине) не улыбалась и не поощряла этих забав, но и не препятствовала им, делая вид, что ничем не интересуется и просто скучает. Впрочем, может быть, так оно и было.

Однако же дурачиться в душевой можно было, лишь соблюдая определенную осторожность: стоило ненароком задеть локтем грязно-серую, пропитанную влагой стену, как целый пласт штукатурки с грохотом отваливался и крошился в липкую пыль, оседавшую на только что вымытые тощие тела, деревянные лавки и пол, что влекло за собой долгую уборку, а то и *увещевание* зачинщиков.

Все без исключения новенькие, вне зависимости от того, прибывали они из больницы или прямо с помойки, должны были, согласно существующим правилам, перво-наперво проследовать в душевую и «смыть с себя всю грязь и заразу». Настоятельница, будучи по природе большой чистюлей и такой же большой брызгой, была убеждена, что весь окружающий мир – рассадник этой самой заразы и ее следует немедленно устранять, прежде чем позволить ее носителю стать обитателем интерната. Она почему-то считала, что сама Петра-Виргиния, чье прекрасное имя носил монашеский орден, не только одобрила бы ее действия, но и настоятельно требовала бы соблюдения таких правил. Да и, в конце концов, с чего-то же должна была начинаться новая жизнь этих заросших грязью бездомных зверят?

Пятачок двора Вилли пересек быстро. Его длинное тело, худобу которого старый, с огромными лацканами и шлицей чуть ли не до подмышек пиджак только подчеркивал, согнулось под тяжестью доставшейся ему доли и не сопротивлялось ей. В словесных приказах он не нуждался, по привычке выискивая их в жестах и намеках окружающих, а потому, заметив знак, сделанный ему сестрой Верой, поспешил ко входу в замок – навстречу новым страданиям.

Глухонемая монашка не проявила ни малейшего интереса при виде подростка, но очень заинтересовалась его растоптанными грязными ботинками, один из которых держался еще на «родном» шнурке, другой же был туго стянут куском алюминиевой проволоки, просунутой в две петли. Было понятно, что и обувь Вилли получил милостью Красного Креста. Через несколько лет, когда так называемый экономический бум наберет силу, социальное обеспечение сирот получит новый толчок и такие вот потрепанные – à la Гаврош – одеяния навсегда уйдут в историю, но в начале шестидесятых годов двадцатого столетия на краю Баварского Леса ботинки и пиджак Вилли считались еще довольно терпимыми, и те, кто подарил их ему,

вправе были ожидать искренней благодарности (в принципе, нам кажется, что благодарности можно и должно ждать за любое благодеяние, хотя тут можно и поспорить).

Бросив на обувку парнишки полный скепсиса взгляд и хмыкнув, сестра Вера жестом велела ему снять ботинки на улице перед дверью. Кусок бетонного покрытия перед входом в «Центральную Америку» был обильно посыпан мелким колючим гравием, так что те несколько шагов, что отделяли Вилли от двери, обещали стать запоминающимися. Мальчишка молча скинул ботинки, цепляя их один о другой, и продемонстрировал монахине свои рваные носки, которые не спасла бы и самая ловкая штопка. Нагнувшись, он аккуратно поставил ботинки рядышком, но затем, подумав, поднял их и вопросительно посмотрел на сестру Веру, ожидая дальнейших указаний.

Глухонемая одобрительно кивнула и махнула рукой в сторону двери. На цыпочках преодолев острые камешки, паренек вошел внутрь и, лишь мельком взглянув на плакат с веселой псиной, тут же повернул налево. Казалось, его не удивило сравнение с замызганным животным, а к указаниям «Тебе туда!» он привык.

Сделав несколько шагов, новичок остановился у двери в душевую, словно заранее знал, где она находится, и был знаком с интернатскими правилами. Сестре Вере оставалось только подивиться его смысленности и выразить свое одобрение похлопыванием по тощему, костлявому его плечу.

Обычно новоприбывшие стеснялись сестры Веры и даже пытались сопротивляться, но Вилли Кай быстро сбросил одежду и замер посреди помывочной в чем мать родила, даже не стараясь прикрыть свое юное, еще не заволосявшее хозяйство. Парнишка, несомненно, прошел не один приемник-распределитель и знал, что сопротивление власти ни к чему хорошему не приводит, а потому, предвидя приказ раздеваться, поспешил побыстрее покончить с этим. Сестра Вера совсем растаяла от умиления – таких вышколенных и понятливых детей ей еще видеть не приходилось. Не входя в душевую, она указала Вилли на шланги и лежащие на грубо тесаной деревянной лавке куски дегтярного мыла, после чего замерла в ожидании. Уходить она не собиралась, так как без ее контроля мальчишка, вне всякого сомнения, оставит немывтыми самые грязные участки своего куриного тельца.

Повернув вентиль, Вилли не стал пробовать пальцем воду и дожидаться теплой, а просто поднял руку со шлангом и направил ледяную струю себе на голову с самым равнодушным видом. Вода потекла по спине, голодному втянутому животу и тонким, покрытым ссадинами и царапинами ногам мальчишки; она не спешила нагреваться, так как от бойлера до шланга было более двенадцати метров трубы, а потому трехминутный холодный душ и здоровая закалка были Вилли обеспечены. Лицо сестры Веры стало почему-то грустным. Она опустила глаза и устала на свою правую руку, сдирая средним пальцем заусеницу с большого. Возможно, в тот момент ей хотелось ускорить нагрев воды силой своей мысли, но глухонемая монашка никогда никому не поведала об этом.

Контроля не потребовалось: Вилли пробыл под душем достаточно долго, чтобы смыть с себя всю «заразу», а черное дегтярное мыло использовал даже более интенсивно, чем того желали бы Вера с Теофаной. Закрыв воду, он поймал брошенное ему полотенце и наскоро растер продрогшее тело до розового цвета. Одежда, выданная ему в больнице, была еще достаточно чистой, а потому ему позволили ее оставить (на самом же деле потому, что запасы тряпья в кладовых интерната были довольно ограниченными, что несколько сдерживало страсть Теофаны к чистоте). Ботинки, правда, ему дадут другие, но лишь к вечеру, когда сестра-кладовщица подыщет подходящие. Спустя минуту Вилли, чистый и взбодренный освежающим душем, с холщовой сумкой в руке стоял возле плаката с собакой и дожидался дальнейших распоряжений. И тут на сцене возникла новая фигура, которой в нашем дальнейшем повествовании будет отведена особая роль.

– Ну, привели тебя в порядок наконец?

Произнесла это внезапно появившаяся со стороны Верхнего замка монахиня огромного, как показалось Вилли, роста, чья тонкая талия подчеркивалась шикарным бюстом, распирающим тесное, застегнутое под горло монашеское платье так, что оно чуть не трещало по швам. Ни плаща, ни накидки на ней не было, отчего и бюст, и широкие бедра женщины смотрелись еще более эффектно. Волосы монашки были, правда, убраны в соответствии с уставом, но по тому, как туго сидел на ее голове платок, можно было догадаться, что их довольно много. Молодое лицо с чуть прищуренными глазами и задумчиво прикушенной нижней губой не несло в себе ни капли той возвышенной отстраненности, какой ожидает от монахини обыватель, да и весь облик женщины очень мало соответствовал идеалу «черно-белых сестер» с их подчеркнутой набожностью.

Вилли опешил и несколько секунд стоял с открытым ртом, забыв, что его спросили о чем-то. Эти секунды показались монахине слишком долгими.

– Я задала тебе вопрос. Ты уже был в душе? – голос ее был твердым и холодным, как кусок железной арматуры, покрытой льдом.

Парнишка поспешил ответить:

– Да, госпожа, я уже был в душе и теперь жду.

Та фыркнула:

– Ждет он... Ты – Вильгельм Теодор Кай 1949 года рождения и увидел свет в Фильсхофене?

– Верно, госпожа. Я – Вильгельм Кай и родился именно там, где вы сказали.

– Оставь «госпожу»! Или не знаешь, где находишься? Меня звать сестра Бландина и я – старшая воспитательница интерната для мальчиков при монастыре ордена святой Петры-Виргинии в Вальденбурге. Ты все понял?

Мальчик пораженно молчал.

– Я снова задала тебе вопрос, и ты снова на него не ответил, Вильгельм. Это очень, очень плохо. Думаю, придется учить тебя быть расторопней. Итак, еще раз. *Ты все понял?*

– Да, сестра Бландина. Вы – старшая воспитательница и станете учить меня быть расторопней.

– Верно. А теперь следуй за мной. Я должна разъяснить тебе правила проживания в нашем интернате.

Она круто развернулась на пятке и пошла прочь, качая бедрами так, что поднялся ветер. На Вилли повеяло вдруг «цветами, морем и холодным жаром» – так сам он описывал впоследствии свое первое впечатление от старшей воспитательницы интерната. Оставалось только гадать, что именно заставило эту самку облачиться в монашеское одеяние и принять постриг (позже мы приоткроем перед читателем завесу этой тайны), но то, что это была самая заметная монахиня всей округи, не подлежало сомнению. Вилли Кай, в силу своего возраста, ничего, кроме страха, перед высокой, мощной и грозной Бландиной не испытывал, но вот рабочие, прокладывавшие в монастыре какие-то коммуникации, дружно устраивали перекур, завидя во дворе ее «ледяное величество», да и каждый батрак, чистящий сараи у окрестных крестьян, бросал работу и, опершись на черенок вил, долго провожал горящим взглядом ее бесподобную фигуру, следующую в поселок или на кладбище.

При всех ее замечательных качествах сестра Бландина не была ни настоятельницей монастыря, ни хозяйкой интерната для мальчиков, а посему и собственного кабинета, в отличие от матушки Теофаны, не имела. С новичками она беседовала в так называемом зале для обучения и церемоний, что находился сразу за холлом в Верхнем замке. Там проводились скучные праздничные сборища, и там же выстраивались шеренгой и опрашивались воспитанники, если случалось произойти какой-нибудь пакости и требовалось найти виновного. Отделанные коричневыми панелями стены и наспех сколоченные скамейки вдоль них производили довольно

унылое впечатление, зато выставленная впереди, у самого распятия, вертящаяся школьная доска с чашкой-«лодочкой» для мелков говорила о том, что тут проходят не только судилища, но и занятия по религии, которую преподавали сами петровиргинки. Правда, далеко не каждый воспитанник понимал разницу между этими двумя действиями.

Пропустив Вилли вперед, старшая воспитательница вошла в зал следом за ним и плотно закрыла тяжелую древнюю дверь. Указав мальчишке на одну из скамеек и дождавшись, пока он робко разместится на ее краешке, сестра Бландина заложила руки за спину и принялась медленно вышагивать по периметру, делая вид, что подыскивает слова. Внезапно она остановилась и уставилась на него буравящим взглядом. Вилли вновь показалось, что от нее веет цветочным морем, и он едва не задохнулся от ужаса и восторга.

– Надеюсь, ты понимаешь, что у нас здесь не психиатрическая лечебница и никто не станет терпеть твоих выкрутасов?

При всем навалившемся на него страхе паренек не смог сдержать удивления:

– Что... вы имеете в виду?

– *Что вы имеете в виду, сестра Бландина!* – отчеканила она вместо ответа, и Вилли понял, что должен повторить произнесенное, дабы не разгневать ее.

– Что вы имеете в виду, сестра Бландина? – прошептал он, сломленный железной волей грозной монахини.

– Я имею в виду, малыш, – процедила та, – что твои фокусы с шастаньем во сне здесь не пройдут! Мне прекрасно известно, зачем ты это продельвал, – ты хотел вызвать к себе жалость и вынудить власти отнять тебя у родителей, которым ты должен был помогать в хозяйстве, и содержать тебя! Ты – маленький пройдоха, лентяй и лжец, но мы здесь не терпим таких, так что тебе придется вести себя как подобает! Это ясно?

– Ясно... сестра Бландина. Но... я не знаю, о чем вы говорите. В неврологической больнице, где я был до того, как приехать к вам, мне говорили, что я иногда хожу во сне, да и мама... Но я, ей-богу, не помню этого, и вам не за что на меня злиться...

Лицо воспитательницы приняло насмешливое выражение.

– Вы только посмотрите на него! В неврологической больнице он был! Ох уж эти мне эскулапы со своими тонкостями! В дурдоме ты был, маленький клоун, а не в неврологии, и был ты там потому, что пытался учинить расправу над своими родителями, а потом прикинулся лунатиком, чтобы не сильно били! Верно?

Вилли поднял на Бландину серые глаза, полные боли. Он очень боялся расправы и хотел угодить этой женщине в черно-белом платье, но не знал как.

– Нет, сестра Бландина, это не так.

– Что? – монахиня отстранилась, во взгляде ее впервые мелькнул интерес. – Что ты сказал?

– Я сказал, сестра Бландина, что это не так. Я не знаю, кто облил маму этой липкой гадостью, от которой она чуть не умерла, поверьте мне! Я не знаю даже, была ли это кислота, как сказали полицейские, или что-то другое. Я проснулся от ее крика и прибежал в их с отчимом спальню, когда это уже случилось. Мама... ей было очень плохо, но я...

– Что ты там мямлишь? Мне неинтересны твои выдумки. Ты можешь говорить все что угодно и продолжать врать, но я знаю, что ты – злобное создание и к тому же вор! Да-да, ты воришка! Я просмотрела твою карточку, и мне известно о магазинных кражах, которые ты совершал едва ли не каждый день!

Вилли сник, опустил голову и уставился на свои обкусанные ногти. Но монашка не оставила его в покое – двумя пальцами она схватила его за подбородок и заставила вновь посмотреть на себя.

– Тебе нужно усвоить, мальчик, что ни я, ни матушка Теофана ничего такого здесь не потеряем, и стоит тебе хоть один раз выкинуть нечто подобное, как мы с тобой спустимся

в подвал и там я научу тебя уму-разуму. Наши воспитанники быстро забывают о глупостях. Тебе...

– Ясно, сестра Бландина, – упредил ее испуганный парнишка. – Мне все теперь ясно.

– Ну, а раз ясно, то ступай в вашу общую комнату и попроси других разгильдяев рассказать тебе, как должно себя вести, лунатик чертов!

Пятнадцатилетний дылда по кличке Бродяга сощурил правый глаз и присвистнул:

– Оп-па! Кто это к нам пожаловал? Неужто жертва Бухенвальда? Посмотрите-ка, ребята, да он просто скелет ходячий! Эй, скелет, ты из какого склепа?

Среди мальчишек, что сидели на кривоногих табуретах, стояли там и сям и лежали прямо на полу, раздалось несколько одобрительных смешков, по которым сразу можно было узнать особо рьяных сторонников и почитателей Бродяги. Все взоры обратились на вошедшего.

Вилли Кай стоял в дверях, переминаясь с ноги на ногу, и не решался переступить порог. Он не трусил, но жизнь научила его относиться с опаской ко всему новому, а потому и здесь, в среде таких же, как он, беспризорников и шалопаев, следовало быть осторожным. Вилли молча рассматривал присутствующих, никак не реагируя на выпад дылды. Он знал, что рисоваться и самоутверждаться – первейшая необходимость в этом возрасте, а уж если судьба дарит тебе такую легкую жертву, каким был для Бродяги Вилли, то грешно не использовать этот шанс. Многим знакомо неприятное, даже отвратительное состояние – быть новеньким в коллективе. Особенно это касается школы, когда в людях нет еще ни ума, ни такта, ни желания строить нормальные отношения, но есть энергия, гонор и жажда быть «кем-то». Ну, или хотя бы казаться.

– Ну, чего встал? Заходи, располагайся! Тут не кусаются, только бьют крепко.

Бродяга расхохотался собственной шутке и огляделся в поисках одобрения, которое не замедлило последовать: многие загоготали, а кто-то даже издал неприличный звук, после чего хохот усилился. Лишь один мальчонка, совсем юный, не обращал, казалось, внимания на происходящее – он был всецело сосредоточен на попытках прибить колотящуюся о стекло высокого окна муху, которая раздражающе жужжала и ловко увертывалась от следующих один за другим шлепков большой самодельной мухобойки. Но то ли сам парнишка был неловок, то ли муха слишком опытная, только мухобойка давно уже превратилась для нее в опахало и особых проблем не доставляла. При каждом ударе мальчишка выдыхал: «Н-на!.. Ч-черт!.. Н-на!.. Ч-тоб тебя... Н-на!»

– Эй ты, Андреас! – окликнул Бродяга неудачливого мухобойца. – А ты что ж, не подойдешь поздороваться с новеньким? Напрасно! Ведь ты должен быть благодарен этому скелету: теперь ему, а не тебе, будет доставаться большая часть оплеух и грязной работы!

– М-м-м... Н-на!.. Да ты посмотри на эту скотину!.. Н-на! – было ему ответом.

Свет клином сошелся на мухе для маленького Андреаса, а может, он просто не желал общаться с Бродягой. Не дождавшись реакции, тот вновь обратился к Вилли:

– Ну, бросай попу где-нибудь в углу да рассказывай! Ты кто такой будешь?

Оглядевшись в поисках скамьи или табурета, Вилли ничего подходящего не нашел, а потому просто прижался спиной к стене, держа перед собой свою холщовую сумку, словно она могла его защитить.

– А-а... вон оно что! – картинно вздохнул Бродяга. – Значит, пол – недостаточно достойный аэродром для твоего тощего зада? Ну, придется заставить тебя приземлиться...

С этими словами Бродяга медленно, словно нехотя, сполз с табурета, на котором все это время сидел, и вразвалку направился к новичку. Он изо всех сил строил из себя вальяжного главаря шайки и, если бы за курение в интернате не полагалось строжайшее *вразумление*, непременно сунул бы в рот папиросу. Когда до замершего у стены Вилли осталось каких-нибудь два-три метра, Бродяга вдруг подобрался, напряжился и, выставив вперед плечо, всей массой своего длинного жилистого тела обрушился на щуплую жертву. Вилли, несо-

мненно, грохнулся бы на пол, если бы не какой-то выступ, упирающийся ему в локоть. Руку пронзила боль, но парнишка устоял и даже крепче уперся ногами в пол, найдя более устойчивое положение. Бродяга на секунду опешил, но тут же разъярился еще больше и двинул своим острым коленом Вилли в живот. Холщовая сумка, висевшая чуть ниже, могла бы при случае спасти более уязвимые органы, но удар пришелся точно в белую линию живота, заставив мальчишку согнуться пополам и мешком повалиться на пол, хватая ртом воздух. Глаза внезапно залил пот, а страх в душе сменился тоской от отчаяния и безнадежности. Ожидая новых ударов, Вилли попытался свернуться калачиком и спрятать лицо, но тут произошло неожиданное.

– Оставь его, Карл! Какое ты все-таки дерьмо...

Раздавшийся из противоположного угла помещения спокойный, чуть уставший голос сейчас же остановил гвалт и заставил Бродягу опустить поднятую для пинка ногу. Воспользовавшись передышкой, Вилли отполз обратно к стене и с трудом сел. Дышать было все еще тяжело, но боль понемногу отпускала.

На скамейке, ранее скрытой за спинами других воспитанников, сидел паренек, облаченный в огромную деревенскую рубаху со шнуровкой посередине и зелеными узорами по плечам и такие же огромные кожаные штаны чуть ниже коленей, предназначенные, скорее, для народных гуляний, чем для ежедневной носки. Если бы кто-то водрузил ему на голову фетровую шляпу с пером, то образ местного крестьянина на празднике был бы завершенным. Перед тем как заговорить, обладатель штанов и рубахи читал книгу, которую теперь держал в руке, зажав между большим и средним пальцами, а указательный вставив вместо закладки.

«Наверное, это очень умная и сложная книга, – мелькнуло в голове Вилли, – вон какая толстая...» Ему самому мать книг не покупала, а те, что он видел у ребят в школе, – тонкие цветные брошюры с огромными буквами – представлялись ему детской глупостью.

Между тем книголюб поднялся со скамейки и сделал несколько шагов по направлению к центру зала. Роста он был небольшого, да и годами не намного старше Вилли, но сложения чрезвычайно коренастого и крепкого, словно маленькая бочка, запакованная в баварский национальный костюм. В глаза бросались его большие, похожие на лопаты руки с толстыми короткими пальцами, которым впору было держать плуг или вилы, а не книгу. Большие ботинки с раздутыми носами – атрибут все того же наряда – были крепко зашнурованы, а между ними и едва прикрывающими колени штанами виднелась белая (хотя, скорее, бело-лиловая от синяков) безволосая кожа. Густые брови, почти смыкающиеся у переносицы, могли придавать ему, в зависимости от ситуации, и умный, и грозный вид, а стреляющие из-под них живые глаза выдавали в их обладателе человека внимательного, любопытного и рассудительного.

Какое-то время он молча стоял в середине зала и разглядывал Карла. Постепенно взгляд его из хмурого стал насмешливым, и он наконец изрек:

– Что, балбес, дождался возможности продемонстрировать всю свою дурь? Так она у тебя и так через край плещет, только пасть разинешь! Верно говорю?

Последние слова были обращены уже ко всем присутствующим, и в толпе тут же прокатился одобрителный смех, точно такой же, как несколько минут назад в угоду Бродяге. Сам же Карл, которого никто, кроме парня в крестьянской одежде, по имени не называл, насунился и отошел в сторону, со злобой поглядывая на новенького, с которым ему помешали «поговорить как полагается». Он потирал ушибленное плечо, шмыгал носом и безуспешно пытался заправить в штаны выбившуюся оттуда линялую рубаху.

– Ну, а раз верно, – продолжил паренек, – то предлагаю на сегодня запретить ему эту пасть разевать. Другими словами, заткнись, Карл, и, как сказала бы тебе сестра Азария, «прикинись рыбою и подумай над своим нехристианским поведением». А иначе придется мне, дружок Карл, вразумлять тебя другим способом. Все согласны со мной?

Дружный гул подтвердил справедливость решения баварца. Тот же вразвалку, но, в отличие от Бродяги, не рисуясь, подошел к сидящему у стены новенькому и рывком за шиворот поднял его с пола.

– Не сгибайся никогда перед свиньями, парень, иначе скоро из одного с ними корыта есть придется! Вот, например, Карл по кличке Бродяга – свинья, и в самый раз было бы не падать перед ним на колени, а надавать ему по хрюкальнику. Ты сам-то кто?

Слово «хрюкальник» рассмешило Вилли, и он, широко улыбнувшись, ответил:

– Я – Вилли Кай.

Сказав это, он почему-то испытал такой прилив решительности, что, не смущаясь, добавил скороговоркой:

– Отчим хотел меня выжить из дому и облил мать какой-то гадостью. Меня схватили полицейские и отправили в неврологическую больницу, то есть в дурдом, как сказала сестра Бландина, а из дурдома дядька, что ругался последними словами, привез меня сюда. Потом глухонемая бабка заставила меня ходить босиком по острым камням и мыться в холодной воде, а эта огромная... красивая сестра Бландина наорала на меня и велела вести себя как следует, а не то она сотворит со мной какой-то ужас...

Он перевел дух. Баварец легонько ткнул его кулаком в плечо.

– Ладно, не бубни! Потом расскажешь свою историю. Выходит, ты уже знаком с Бландиной?

– Угу.

– Ну, что ж... Выходит, начало положено. Меня звать Шорши. Того балбеса, как ты уже понял, – Карл (но лучше – просто Бродяга), остальных ты узнаешь постепенно. Да, кстати, самый младший у нас...

– А-а-а, с-сука!!! Вот так-то! – раздалось со стороны окна после очередного неистового шлепка, и всем стало ясно, что упрямая муха обрела-таки покой, став пятном липкой зеленой слизи.

– Вот-вот, – закончил свою мысль Шорши. – Самый младший и настырный у нас Андреас. Так что заходи, располагайся.

Глава 3

О газетной заметке, многоликих монашках и старинной гравюре

Следующие несколько дней прошли ничем не примечательно. Вилли Каю указали его койку в нижнем ярусе деревянного, напоминающего строительные леса сооружения, занимающего добрых две трети общей спальни воспитанников, и досконально разъяснили здешние правила проживания, делая основной упор на грозящие ему в случае малейшегослушания мучения. Многие из его новых товарищей более всего негодовали на строжайший запрет табака и пива и на чем свет стоит кляли неусыпно следящую за этими делами «старую ведьму» – сестру Ойдоксию. Вилли же все это не интересовало. Он, казалось, был озабочен чем-то совсем другим, озирался с опаской по сторонам, подробно расспрашивал, где что находится, как часто разрешено вставать в туалет и запираются ли на ночь входные двери. Его собеседники, которым такая дотошность казалась странной, недоуменно переглядывались, пожимали плечами и шептались, спрашивая друг друга, не подсунули ли им в товарищи психа.

Был ли Вилли болен? О да, был! Врачи называли его недуг снохождением, мать и отчим – проклятой дуростью, а сестра Бландина – чертовым лунатизмом, который она выбьет из его бестолковой башки. Сам же парнишка не знал названия своей болезни, но боялся ее.

Со снами у него и правда сложились странные, необычные отношения, которым он не мог дать объяснения. Запутанные свои переживания и подозрения, которых он страшился, Вилли не открыл до сих пор никому – ни матери, которая никогда о них и не спрашивала, ни врачам, желающим залезть к нему в душу и вытянуть всю подноготную. Что-то подсказывало маленькому пациенту, что люди в белых халатах, какими бы внимательными и обходительными они ни казались, просто не смогут понять, о чем он им толкует, и заклеят его навеки каким-нибудь суровым научным вердиктом. Поэтому он с готовностью принял поставленный ими диагноз «сомнамбулизм» и сделал вид, что готов к лечению. И вот теперь он здесь, в интернате при монастыре Датских Ключниц. Хорошо это или плохо, Вилли не знал. То, что ему больше не придется видеть мать и отчима, было, несомненно, большим плюсом, но вот сможет ли он здесь спокойно спать? Не продолжится ли то, что раньше происходило с ним в сновидениях? То, что вырвало его из обычной жизни и бросило в психиатрическую лечебницу в местечке Панкофен?

– Поклон вам, мать-настоятельница! Вы звали меня?

– Что? – Теофана оторвалась от бумаг и подняла голову. – А, это вы, сестра Бландина! Хорошо, что вы пришли, у меня есть для вас кое-что интересное. Но, мне кажется, я приглашала еще и сестру Эдит?

Из-за спины рослой Бландины выдвинулась небольшая, ладно скроенная фигурка и стала рядом со старшей воспитательницей. По сравнению со своей экстравагантной товаркой сестра Эдит выглядела типичной монашкой – скромной, неброской, с просветленными чертами бледного лица и открытым взглядом. Она вежливо, но без подобострастия поклонилась и, сложив руки на груди, замерла в ожидании дальнейших указаний.

– Проходите, сестры, прошу вас, и садитесь напротив меня. Речь пойдет об этом новеньком, что прибыл к нам на прошлой неделе. Вилли Кай.

Бландина, взметнув подол монашеского платья так, словно демонстрировала его в модном салоне, опустилась на предложенный ей стул с изяществом придворной дамы. Сестра Эдит просто присела на краешек и чуть склонила набок голову в уважительном внимании.

Аббатиса продолжала:

– Сегодня, сестры, я получила письмо из психиатрической больницы в Панкофене и думаю, что вам, как педагогам интерната, нужно знать его содержание. Кстати, к письму прилагается вырезка из тамошней газеты с очень любопытной, на мой взгляд, статьей, которая многое расскажет вам о вашем новом воспитаннике. Да вот, впрочем, ознакомьтесь!

С этими словами она протянула Бландине несколько исписанных крупным мужским почерком листов серой бумаги, а Эдит – газетную вырезку. Обе монахини углубились в чтение. Настоятельница тем временем сняла свои огромные очки, отчего глаза ее сильно уменьшились и стали похожи на слепые глазки крота, и протерла линзы лоскутком мягкой ткани. Снова нацепив очки на нос, она о чем-то задумалась.

Сестра Бландина оторвала глаза от врачебного документа и, деланно вздохнув, изрекла:

– Ничего нового, матушка. Уже тогда, когда вы мне рассказали о его больничном прошлом, я поняла, что ничего хорошего ждать не приходится. Подумать только! Он не только малолетний вор, но еще и опасный тип! Я, конечно, знаю, что все наши постояльцы – простите, воспитанники – не подарок и за каждым тянется хвост нарушений и разгильдяйства, но... попытаться таким зверским способом сжить со свету родную мать, которая тебя любит, а затем еще и оклеветать отца, пытаясь свалить на него вину! Это, скажу я вам, выше моего понимания!

– Не отца. Отчима, – поправила ее аббатиса.

Но сестра Бландина лишь скривилась в ответ:

– Какая разница, мать-настоятельница? Подозреваю, что это человек, который вырастил и выкормил паршивца, принял его как родного сына и дал ему крышу над головой. Настоящий его папаша, должно быть, бросил мальчика и думать о нем забыл!

Теофана выразительно кашлянула, давая понять вошедшей в раж сестре, что сдержанность и благочестие нужно проявлять не только во время богослужений и выходов в город. Та покорно замолчала.

– Мне кажется, вы рано делаете выводы, сестра Бландина, – проговорила аббатиса слегка назидательным тоном. – На самом деле нам ничего не известно ни об его отце, ни обо всей этой истории. Да и что нам до того? Господь вверил нашим заботам обездоленное дитя, и мы, следуя своему предназначению, обязаны позаботиться о нем так, словно заботимся о самом Христе! К тому же что это вы так завелись, сестра Бландина? Разве позабыли вы о скромности, сердечной отзывчивости и сдержанности, кои должно проявлять христианину? Или сестра Эдит права, и мы и впрямь ничего не знаем друг о друге?

Имейся в кабинете наблюдатель, то ему, чего доброго, могло бы показаться, что во взгляде настоятельницы на долю секунды мелькнуло лукавство, но это было, конечно же, не так.

– Сестра Эдит? – удивленно переспросила Бландина. – По-моему, она ничего не говорила...

– Ах, оставьте, милая, и не обращайтесь внимания на мои слова, это не ко времени. Ну, что же вы, сестра, никак не закончите чтение?

Последние слова относились уже к Эдит, которая все еще не отрывала взгляда от газетной вырезки. На губах ее играла неожиданно счастливая улыбка.

Заметив это, аббатиса нахмурилась: сама она не испытала таких чувств, читая заметку, да и проявление эмоций на всегда спокойном лице второй воспитательницы было достойно недоумения.

– Что вас так обрадовало, сестра? – поинтересовалась она довольно сухо. – Не поделитесь ли с нами своими переживаниями? Глядишь, и мы с сестрой Бландиной развеселимся...

Эдит видимым усилием воли согнала с лица улыбку, придав ему подобающее монахине удрученно-возвышенное выражение. Делиться с настоятельницей своими мыслями она, по-видимому, не собиралась.

– Простите, матушка, просто мне вспомнилось кое-что, не имеющее прямого отношения к делу.

– Вот как? Вы витаєте в облаках, сестра?

– Все нет, матушка. Я внимательно прочла заметку и выслушала мнение сестры Бландины, равно как и вашу оценку последнего, и могу, если желаете, повторить все это слово в слово и даже присовокупить то, что вы обе подумали при этом... Просто в ожидании конца вашей дискуссии я начала думать о другом, вот и все.

Хамство было хорошо завуалировано, и настоятельница сочла нужным сделать вид, что ничего не заметила.

– Хорошо, сестра Эдит, не сердитесь. Так что вы можете сказать по поводу прочитанного?

– Ничего.

– Как – ничего? Но ведь это...

– ...ужасно, матушка, но не более того. Как вы только что справедливо заметили в разговоре с сестрой Бландиной, об этой истории нам ничего достоверно не известно, да и не наше это дело – давать оценку чужим поступкам.

Тут вступила в разговор старшая воспитательница:

– Разрешите и мне ознакомиться с заметкой, мать-настоятельница? Хотелось бы узнать, что на самом деле заставило улыбаться сестру Эдит.

– Пожалуйста, – Эдит протянула Бландине вырезку и вновь странно улыбнулась.

На полосе «Фильсхофенского листка» от 23 марта 1962 года можно было прочесть следующее:

«Дитя или изверг?»

В четверг, 22 марта, в одном из пригородов Фильсхофена произошла необычная семейная драма. Тринадцатилетний сын бывшей местной официантки – известный в округе воршика и прогульщик школьных занятий – безо всякой причины напал на своих спящих родителей и выплеснул на мать целый ушат неизвестной ядовитой жидкости, от которой на теле женщины остались обширные болезненные раны. В состоянии шока ее доставили в ближайшую больницу для оказания помощи. Внезапно возникшие осложнения в виде сильной лихорадки и онемения кожных покровов требуют дальнейшего врачебного наблюдения пострадавшей.

Потрясенный муж женщины сообщил, что проявивший агрессию мальчик с давнего времени отличался странностями поведения и страдал снохождением (или, говоря научным языком, сомнамбулизмом). Он всегда был замкнутым, нелюдимым и в высшей степени неблагодарным ребенком, однако явной враждебности до сих пор не выказывал.

Мальчик не пытался скрыться, объяснений не давал и, по свидетельствам сотрудников полиции, вид имел затравленный, что и понятно, учитывая низость и нелепость совершенного им поступка. Тринадцатилетний преступник был обезврежен и немедленно доставлен в психиатрическую клинику Панкофена, где он будет тщательно обследован врачами и подвергнут принудительному лечению».

– Ну, что я говорила? – сестра Бландина вернула вырезку аббатисе и сокрушенно покачала головой. – По-моему, сомнений в ненормальности ребенка нет, и он еще доставит нам проблем, однако вы правы, мать-настоятельница, – лишь милосердием и лаской можно облегчить страдания этой заблудшей души...

– Важнее постараться не стать причиной этих ее страданий, – подала голос сестра Эдит. – Жизнь изрядно потрепала этот зеленый росток, и, думаю, ничего плохого не будет, если хотя бы здесь, у нас, с ним станут обращаться тепло и по-человечески.

Мать Теофана посмотрела на нее поверх очков долгим оценивающим взглядом, прежде чем с угрожающим спокойствием изречь:

– Вы хотите сказать, сестра, что с кем-то из воспитанников здесь обращаются не по-человечески? Вы имеете в виду кого-то конкретно?

– Упаси бог, матушка! – чуть поклонилась Эдит, скрывая улыбку. – Однако... Я совсем недавно здесь и не знаю всех нюансов, но в списке воспитательных мер, что висит в преподавательской комнате, я нашла десятки санкций и наказаний, но ни единого поощрения...

– Как вы сейчас верно заметили, дорогая, вы у нас совсем недавно, а уже позволяете себе обсуждать устав обители! Думаю, что...

– Разве нещадная порка детей и попытки сломить их волю в темном сыром подвале прописаны в уставе ордена Петры-Виргинии? Если это так, то я очень прошу указать мне это место в тексте, мать-настоятельница!

Лицо Теофаны окаменело.

– Я не закончила, сестра Эдит, и не смейте более перебивать меня! До вечерней службы еще есть время, и думаю, что вам сейчас следует отправиться к себе и хорошенько обдумать свое дальнейшее поведение! Мы с вами еще вернемся к этому разговору, и надеюсь, что ваше отношение к правилам и иерархии (на последнем слове она сделала существенный нажим) в корне изменится. Ступайте!

Отвесив аббатисе глубокий, почти земной поклон, сестра Эдит вышла из кабинета. Разумеется, она поступит именно так, как ей приказала матушка, и постарается раскаяться в недостойном своем поведении.

На смазливом лице сестры Бландины играла улыбка гиены. Ничего не могло быть приятнее такого подарка – быть свидетельницей унижения этой задиристой выскочки, мнящей себя сердобольной и целомудренной! Словно полный кувшин животворящего бальзама пролила Теофана на израненную душу старшей воспитательницы!

– Как хорошо вы ее пожурили, мать-настоятельница! Теперь она тысячу раз подумает, прежде чем поучать кого-либо!

Аббатиса едва слышно вздохнула.

– Идите и вы, сестра Бландина, идите! Посвятите оставшееся до литургии шестого часа время своим обязанностям. Кстати, сестра Ойдоксия зачем-то искала вас.

Легкий поклон, и старшая воспитательница интерната вышла вон.

Время приближалось к одиннадцати, и в замке Вальденбург было тихо. Все воспитанники находились на занятиях в поселковой школе (в самом монастыре им преподавали только религию, чистописание и природоведение, в котором каким-то образом была сведуща сестра Азария), большинство монахинь трудились каждая на своем поприще (кто сестрой милосердия в больнице, кто в булочной, кто в городской библиотеке), а глухонемая сестра Вера, окончив свои прачечные дела, сидела с рукоделием в углу холла и шума не создавала. Крючок прыгал в ее отекавших, заскорузлых руках на удивление бойко, а выползающее из-под него белое кружево, коего Вера за ее многолетнее пребывание в монастыре навязала километры, поражало тонкостью работы. В маленький мирок глухонемой было трудно пробраться, да в нем, наверное, и не было места ни для кого, кроме Бога. Рассказывали, что Вера не всегда была такой: когда-то она якобы даже читала стихи со сцены и готовилась в артистки, но, чудом избежав смерти от топора пьяного отца и став свидетельницей того, как этот самый топор превращает в кучу кровавого месива ее мать, Вера утратила речевые способности, замкнулась в себе, опустила и, несколько лет проведя в доме для умалишенных, была отпущена в обитель ордена Петры-Вир-

гинии. Не получив никакой профессии и не умея говорить, она, в отличие от других сестер, не могла работать за стенами монастыря, а потому занималась прачечной, следила за порядком в помывочной и кладовых, да иной раз, когда этого требовали обстоятельства, приглядывала за сорванцами-воспитанниками. В обители Веру по большей части просто не замечали, она была словно частью интерьера, и мало кто задерживался взглядом на ее бесформенной приземистой фигуре с невыразительным, покрытым сеткой морщин лицом и всегда чуть шевелящимися, как будто она хотела поведать о чем-то, губами.

В это время дня в замке не было никаких занятий: религиозные назидания матери Теофаны воспитанникам были запланированы на шестнадцать часов, а изучение жизнеописания Святого Фомы – лишь на завтра. Сестре Азарии с ее природоведением также не нашлось места в сегодняшнем расписании, так что остаток монастырского дня обещал быть спокойным. После повечерия сестры, не занятые воспитанием молодежи, кивнут друг дружке и, оберегаемые ангелами, разойдутся по своим кельям. С этого момента и до утра для монахинь наступало время «большого молчания», которое, согласно уставу, могло нарушаться лишь в экстренных случаях.

Воспитатели, конечно же, были освобождены от исполнения этого предписания, так как молча совладать с дикой оравой разнuzданных детей и подростков было бы не под силу ни уродливой, как саламандра, Ойдоксии, ни прекрасной, как породистая лошадь, Бландине, ни даже спокойной и терпеливой Эдит. Первым двум речь требовалась для громогласных или шипяще-угрожающих *журений*, последней – для вдумчивых, рациональных объяснений и завораживающих историй, которых она знала в избытке. Когда сестра Эдит садилась на стул у двери в их спальню и вела сказ о каком-нибудь влюбленном в тень огня средневековом рыцаре, нашедшем смерть на подступах к объекту своего вождения (скрывающемуся, само собой разумеется, в замке Вальденбург), то даже начитанный скептик Шорши откладывал в сторону свою очередную книгу и начинал прислушиваться к тихому, немного приглушенному голосу девушки – самой молодой из датских ключниц. Как только это происходило, замолкали, будучи знакомы с гневом своего предводителя, даже самые неугомонные из воспитанников, а долговязый Карл по кличке Бродяга, которому ничего, кроме пакостей, интересно не было, просто забирался с головой под свое колючее одеяло и засыпал.

Свои волшебные рассказы и тихие, никому не знакомые странные напевы, которые она обращала, как правило, к притаившейся за окном ночи, сестра Эдит чередовала с расспросами. Ее интересовало все: как прошел день у Томаса и что так обрадовало сегодня после завтрака Франци? Почему плакал в раздевалке маленький Анди? Не находит ли Шорши, что школьная учительница географии слишком мало требует от него (ведь он такой умный!) и зачем Вилли Кай снова целых полчаса топтался у входа в подвал, ведь там нет ничего интересного? Ах, вот как?! Он хотел убедиться, что дверь плотно закрыта? Какая чепуха! Он уже большой мальчик и должен бы понимать, что никаких чудовищ там нет...

И так далее. Ни спорить, ни тем более ругаться с сестрой Эдит было невозможно, как невозможно, да и не хочется, плевать в солнце, согревающее и дарящее тебе лучи своего света. Эта кроткая женщина, неизвестно почему принявшая постриг, не была ни грозной, ни властной, ни даже просто волевой, но именно ее тихий, ласковый голос в мгновение ока наводил порядок в нестройных рядах «трудных» подростков. Такого волшебного эффекта не достигал ни ледяной, состоящий почти из одних приказов, «барабанный бой» сестры Бландины, ни проникнутый ненавистью зубодробильный скрежет старой карги Ойдоксии, единственной целью которой было найти повод для применения пыток к «несносным поганцам».

К несчастью, три воспитательницы должны были чередоваться при исполнении своих обязанностей, и потому лишь каждый третий вечер дети могли рассчитывать заснуть без страха и окриков, а заодно и услышать что-нибудь интересное. Впрочем, некоторым из них – тем, что постарше, – созерцание раскрепощенно дефилирующей вдоль ряда двухъярусных коек пышно-

телой нимфы Бландины также доставляло немалое удовольствие. В их глазах она была воплощением женского начала, и каждый подросток, которому доводилось вдохнуть дурманящий запах ее тела, получал на ночь порцию таких снов, до которых волшебным сказкам Эдит было никогда не дотянуться.

Лишь сестра Ойдоксия – карикатурный слепок сказочных лесных троллей – являла собой истинную беду: редкий вечер ее дежурства проходил без отправки одного из воспитанников в темный сырой подвал для *увещания*, а то и назначения на следующий день полноценного *вразумления*. В отсрочке наказания и заключался маленький «фокус» сестры Ойдоксии: назначая издевательство за какую-нибудь явную мелочь, она не могла быть уверенной, что мать Теофана не отменит экзекуцию, а потому определяла отсрочку до завтра – в надежде, что обуреваемый ужасом ожидания виновник ударится ночью в бег, что уже по всем правилам неминуемо каралось *вразумлением*. Со временем эту ее стратегию раскусили, и воспитанники вальденбургского интерната не спешили обмочить штаны при оглашении ею приговора, но ненависть и презрение к сестре Ойдоксии от этого меньше не стали, и она чаще, чем другие сестры, становилась объектом злых мальчишечьих шуток. Впрочем, за кусачего рака в кармане плаща, кусок собачьего дерьма в ботинке и даже просто неосторожный смешок за спиной злобная ведьма всегда люто мстила, поэтому конца этой войне не предвиделось.

Ну, и с некоторых пор в монастыре появился еще один примечательный персонаж, точнее, не появился, а приобрел новые качества. Речь идет о сестре Эпифании, с которой произошла несчастливая история, послужившая к тому же источником самой, пожалуй, мрачной легенды Вальденбурга, которую подслушал (а может быть, и выдумал) не так давно один из местных героев – ушлый мальчонка по имени Франци.

Как-то раз этому самому Франци довелось иметь скучное «ботиночное дежурство» – сидел на низенькой скамейке в одной из комнат общего пользования в Верхнем замке (для уплаты трудового долга воспитанников туда пускали) и чистил вываленные перед ним бесформенные, похожие на солдатские, ботинки своих милосердных наставниц. Для того чтобы иметь удовольствие несколько часов кряду дышать гуталином, никакой провинности не требовалось – эта работа являлась частью обязательной программы воспитания сирот, позволявшей им, по словам матери Теофаны, «хотя бы на полногтя отблагодарить добрых сестер за каторжный воспитательский труд и те мучения, что они претерпевают».

Так вот, сидя на скамейке и махая без устали щеткой и бархоткой, парнишка увидел через приоткрытую дверь гладильной комнаты согбенные черные спины двух монахинь, склонившихся над подоконником и рассматривающих что-то в свете заходящего солнца. По напряженному шушуканью и временами прорывающемуся сквозь него легкому повизгиванию мальчишке стало ясно, что две «коровы» (как он тут же окрестил монашек) – жирная и тощая – напали на что-то, крайне их заинтересовавшее. Перешептываясь, они касались друг дружки своими крахмальными косынками и нетерпеливо переминались с ножки на ножку. Одну из них – толстуху Магду – чистильщик ботинок хорошо помнил и побаивался: ведь это именно она выкрутила ему давеча ухо да так натрубила в него своим гнусавым басом, что он чуть не написал в штаны. Имени второй монашки – тощей невзрачной тетки – он не знал, – она была занята где-то при хозяйстве и к его воспитанию отношения не имела.

Сейчас эта самая хозяйственная тетка что-то настойчиво доказывала Магде, тыча пальцем в лежащую перед ними на подоконнике вещь, а та, видимо, не желала принимать на веру речи собеседницы и невразумительно бубнила в ответ. Наткнувшись на стену твердолобости и теряя терпение, тощая монахиня повысила голос, и до замершего со щеткой в руке Франци долетели следующие слова:

- Какая же ты, Магда, ей-богу! Говорят тебе, что так оно и есть!
- Бррр... Бом-бум, ддр... – последовал ответ толстухи.

– Да ты не спорь, а подумай сама! Ну, где ты нашла эту гравюру?

Тут Магде, видимо, «вступило в стегно», она схватилась рукой за свою жирную ляжку и разогнулась. Она больше не подпирала рукой подбородок, и теперь ее ответ можно было разобрать.

– Ну, в подвале нашла, Эпифания, за старой решеткой. Я ведь тебе говорила...

«О как! Эпифания! – фыркнул про себя случайный свидетель разговора, не выпускавший из руки сапожную щетку. – Интересно, кто придумал давать монахиням такие идиотские имена?»

– А почему до тебя ее никто не нашел?

– Так ведь это... Решетка же землей была завалена, а когда недавно прокладывали трубы и отгребли землю, так она и выступила на свет божий. Открыть-то ее все равно нельзя, а вот руку просунуть можно.

Собеседница Магды хмыкнула и посмотрела на ту с любопытством.

– Чего это тебе приспичило руки туда просовывать? Что ты вообще там делала? Или забыла, что нам теплый туалет соорудили?

Толстуха смутилась:

– Да нет... Я не...

– Понятно. Жратву прячешь, – подвела черту Эпифания и тут же забыла об этом. – Так ты подумай, сколько времени эта гравюра могла там пролежать! Несколько сот лет!

– И что с того?

– Да то, что дамочка эта на гравюре – именно *та* дамочка, понятно тебе?

– Какая – та?

– Ну, до чего ты непроходимая, Магда! Беда мне с тобой!

– Брр... Бум! – толстуха снова склонилась над подоконником и подперла отвислую щеку ладонью, так что речь ее опять стала неразборчивой.

Тут сестра, что «по хозяйству», величественно выпрямилась, расправила плечи и, придав голосу торжественности, заявила:

– Это, глупая ты моя Магда, *та самая* княжна-оборотень, что сожрала и растерзала тут в пятнадцатом веке пол-округи, а потом и сама сгинула! Ха! А хочешь, я скажу тебе, недалекая моя подруга, где она сейчас?

– Г-где же? – прошептала перепуганная толстуха и оглянулась, словно ожидая увидеть за спиной оборотня.

Удовлетворенная произведенным эффектом и желая закончить речь наиболее выразительно, сказочница перешла на страшный шепот:

– Почувяв близкую расправу, она обернулась летучей мышью – бессмертным крылатым чудищем и правит с тех пор целым сонмом этих отродий, пищащих ночами и не дающих тебе спать, о бестолковая моя Магда!

– Неужели и впрямь? – попяtilась та и, не оказавшись сзади нее табурета, опустила бы свою могучую задницу прямо на пол.

– Да! И это не все! Ты нашла ее портрет, сестра, ее оберег, и теперь она спустится к тебе ночью, бесшумно паря на своих перепончатых крыльях, и вонзит в твою жирную шею свои маленькие острые зубы...

– О!

– А потом примется за остальных, как она уже это делала пятьсот лет назад! Ну, теперь ты веришь мне? А то никак тебя было не вразумить!

Услышав знакомое слово, Франци представил себе, как некто *вразумляет* неповоротливую старуху, и громко фыркнул.

– Ах! Кто здесь? – резко повернулась на звук сестра Эпифания, закончившая рассказывать одну из самых нелепых и бессмысленных своих историй. – Неужто сорванцы?

Бросив щетку и едва не перевернув банку с гуталином, струхнувший парнишка, ставший свидетелем ужасного пророчества, метнулся к двери и был таков. Сестры озадаченно переглянулись.

– Ну вот, Магда, теперь пойдут о нас с тобой слухи... Скажут, свихнулись старухи, и смеяться станут.

– Я им посмеюсь! – погрозила Магда кулаком в сторону невидимого противника, но было заметно, что и ей не по себе.

Тощая монашка вновь склонилась над лежащей на широком каменном подоконнике маленькой литой картинкой. Металл порядком позеленел за годы, но, присмотревшись, на нем все еще можно было разглядеть точеный профиль с локонами и полустертую надпись, сделанную старинными витыми рунами, а потому неудобочитаемую. Поднатужившись, Эпифания удалось разобрать букву «Э» в начале первого слова, слог «Вин» в третьем да связку «цу» между ними.

– Ты что-нибудь понимаешь, Магда? – спросила она озадаченно.

Та, вызубрившая когда-то в угоду настоятельнице историю монастыря, снисходительно бросила:

– Чего ж тут понимать? Это, безусловно, Элизабет цу Винцер. Та самая, чьи гнусности ты только что живописала этому змеенышу, что чистил ботинки.

– Так это... она жила в пятнадцатом веке и продала замок? Признаться, я лишь краем уха слышала об этом...

– Очень жаль, что ты такая необразованная, сестра Эпифания. Право, очень.

– Послушай, а она... гм... и вправду была таким монстром?

– Надо полагать. А иначе почему бы она так запомнилась? Кстати, историю про летучую мышшь... ну, о том, что эта женщина обернулась крылатой тварью, я уже слышала раньше, только вот не помню, когда и где. Так что не приписывай себе авторство!

– Да я и не приписываю. Послушай-ка, Магда, а если это и вправду она, то... что теперь?

– Теперь? – толстые щеки Магды разъехались по сторонам, соорудив на ее красном лице подобие улыбки. – Теперь она спустится к тебе ночью, бесшумно паря на своих перепончатых крыльях, и... вразумит тебя, о Эпифания!

Зычно захохотав, сестра Магда удалилась, оставив озадаченную и порядком испуганную собеседницу в одиночестве.

Франци же в это время не спеша, даже важно входил в общую спальню, чтобы стать героем, вновь и вновь смакующим подробности подслушанного им тайного разговора. Любопытные слушатели не заставили себя ждать, и с тех пор легенда о княжне-оборотне вытеснила прежнюю, оставив право бояться мертвых монашек в образе летучих мышшей младшему поколению. Привилегию же рисовать в воображении стати и формы бессмертного вервольфа в юбке и поеживаться под колючим одеялом от такого же колючего, но приятного ужаса старшие воспитанники интерната целиком и полностью присвоили себе.

После этого случая прошло несколько тяжелых и серых, как непропеченный хлеб, монастырских месяцев. Первый восторг прошел, и Франци из героя снова превратился в рядового, уступив пальму первенства ребятам с кулаками покрепче. Сестра Эпифания, что так мастерски рассказала слышанную когда-то историю о владетельной летучей мышши, вскоре после того случая слегла с мозговой лихорадкой, но не скончалась, как того ожидали ее подруги, а лишь «совсем рехнулась». Она бредила, кричала, временами теряла сознание и не контролировала кое-какие физиологические процессы. Доктор Шольц – пожилой, неказистый, а потому пользующийся доверием настоятельницы местный врач, – осмотрев ее, побледнел, перекрестился и велел позвать священника. Однако после того, как пастор трое суток промучился у постели больной, а смерть так и не наступила, Эпифанию решено было переправить в больницу в Пас-

сау, где она уже через несколько дней пришла в себя и заявила, что «выведет на чистую воду всех этих тварей и докопается до истины». Доктора и сестры, переглядываясь друг с другом и скорбно качая головами, не стали допытывать большую расспросами: было ясно, что болезнь сделала свое дело и Эпифании никогда уж не стать прежней. Теперь она целыми днями шастала по окрестным территориям в поисках доказательств неизвестно чего: рыскала по каким-то музеям, шепталась с сирыми и убогими да допытывала нелепыми расспросами бывших дворян, разыскивая их по геральдическим реестрам. По хозяйству теперь управлялась новая монашка, а еще более разжиревшая сестра Магда по-прежнему таскала свои телеса по территории и раздавала направо и налево оплеухи, забывая о системе *пожурения-увещевания-вразумления*, которой должна была бы придерживаться. Ну, а гравюра... Гравюра с профилем загадочной злобной Элизабет, якобы до сих пор обитающей в маленьком уродливом тельце летучей мыши где-то в замшелых недрах монастыря, исчезла.

В тот день, когда состоялся ее разговор с Эпифанией, сестра Магда, уходя, попросту забыла гравюру на подоконнике в гладильной комнате, а когда спохватилась и вернулась, то ни гравюры, ни Эпифании там не нашла. Полагая, что это именно та прихватила с собой старинную вещицу, толстуха потащила в келью подруги и потребовала возвратить ей прихваченное, но успеха не имела: сестра Эпифания сделала большие глаза и взяла в свидетели всех святых, что и думать забыла о той «железной картинке» и с подоконника ее не брала. Сестре Магде не оставалось ничего другого, как угрюмо ретироваться. Она нисколько не сомневалась в том, что противная худышка нагло лжет, однако доказательств тому привести не могла.

Снедаемая обидой, толстуха решила обыскать комнатку сестры Эпифании в ее отсутствие и вернуть себе портрет девчонки-оборотня, который она почему-то вдруг страстно возлюбила. Несколько дней спустя, улучив момент, она и в самом деле ввалилась в келью, но наделала шуму и была застигнута своей обидчицей на месте преступления. Густо покраснев и устремив в пол свои пороссячи глазки, Магда принялась мямлить что-то невразумительное, а потом, просияв, заявила, что просто перепутала двери келий. Ни умом, ни находчивостью она не отличалась, и Эпифания, зная это, не стала глумиться над старухой и, вместо того чтобы пожаловаться настоятельнице, еще раз – так искренне, как только могла – заверила бывшую подругу в том, что не брала ее «старую, позеленевшую, никому не нужную железяку». Дорогая Магда должна ей поверить, что, даже будь у нее эта гравюра, она вышвырнула бы ее на свалку. Зачем собирать всякий хлам?

Хмуро взглянув на упрямую нахалку, сестра Магда ничего не ответила и вышла из кельи, решив дожидаться смерти воровки. Но смерть, как известно, – особа непредсказуемая и прогнозов не любит, в чем читателю этих строк еще доведется убедиться. А что касается гравюры, то она еще, может статься, и найдется...

В общем, обитель датских ключниц жила своей, полнокровной жизнью, словно одна большая семья. В семье этой, как и положено, побаивались мать, робели перед старшими сестрами, подшучивали над малышами и чурались дальних родственников. Одного лишь не было в этом странном семействе – общего домашнего очага и душевной теплоты. Но семьи, впрочем, бывают разные.

Глава 4

Доктор Шольц получает нового пациента, а Вилли Кай пьет чай сестры Эдит и предается горьким воспоминаниям

Со времени появления Вилли Кая в вальденбургском интернате для мальчиков прошло чуть больше двух недель. За это время парнишка немного освоился, разобрался в казарменных правилах и неписаных законах и приобрел среди воспитанников и монахинь репутацию спокойного, рассудительного и миролюбивого, хотя и излишне замкнутого и даже нелюдимого подростка. Впрочем, иногда он все же забывался и начинал торопливо рассказывать о своей жизни первому встречному, словно видел в собеседнике лучшего друга, но потом вдруг смолкал на полуслове, смущался и снова уходил в себя, как будто одернутый властным внутренним голосом. Дальнейшие попытки разговорить его были тогда обречены на провал: Вилли съезжился, часто моргал, как продрогший воробей, и смотрел испуганно. Впрочем, попытки эти предпринимала только сестра Эдит, – никто кроме нее не собирался вникать в причуды странного новичка.

Если бы кому-то этот робкий, скрытный мальчишка был по-настоящему интересен, то от него не укрылось бы, что Вилли Кай становился тем угрюмей и пугливей, чем меньше времени оставалось до отбоя. Мало-мальски общительный в полдень, во время ужина он уже почти ни с кем не разговаривал, на вопросы отвечал рассеянно, а перед сном и вовсе становился похож на побитую собаку. Он со страхом оглядывал общую спальню, подходил зачем-то к окну и, что самое интересное, непременно отправлялся в «Центральную Америку», где несколько минут стоял у входа в подвал, вглядываясь в его затхлую темноту и прислушиваясь к чему-то. Что именно он ожидал – или боялся? – там увидеть, оставалось загадкой: на вопросы воспитателей, которые неоднократно заставляли его за этим занятием, мальчик отмалчивался и отводил глаза в сторону, так что ни сестре Бландине, ни доброй, искренне обеспокоенной его состоянием сестре Эдит не удавалось узнать ни мыслей его, ни побуждений. Старая же змея Ойдоксия и не пыталась этого сделать – ее основной целью было поймать подростка на чем-то сурово наказуемом. Но пребывание вечером в переходе между двумя частями замка никакими правилами запрещено не было, поэтому, увидев Вилли у старой лестницы, она ограничивалась окриком и легким подзатыльником, побуждающими его вернуться в общую спальню.

Для нас же с вами чувства и страхи парнишки не должны быть тайной. Запуганный в день своего прибытия сюда сестрой Бландиной, он боялся возвращения своей болезни – снохождения и возможности получить увечья, бродя в бессознательном состоянии по ночному замку. Особенное беспокойство внушало ему подземелье. Именно оно представлялось ему наиболее опасным из-за крутизны сырой лестницы, исходящего оттуда душного запаха смерти и еще чего-то, чему он не знал названия. Века, лежащие между постройкой крепости и его, Вилли, рождением, просто не могли не оставить следов... Он, разумеется, уже был наслышан о летучих мышах и духе «древней баронессы», якобы вселившемся в одно из этих мерзких созданий, и, как всякий тринадцатилетний мальчишка, не мог оставаться равнодушным к этим историям. В общем, он был во власти множества страхов. С одной стороны, он боялся, блуждая во сне, споткнуться и переломать себе кости, с другой же – боялся *не* споткнуться и добрести до страшных подземных клетей, где его, несомненно, ждет смерть от ужасных существ, обитающих там. Но больше всего мальчик боялся самого себя. Боялся, что беда его вернется.

И она вернулась. Однажды утром, разбуженный скрипучим голосом сестры Ойдоксии, трубившей побудку, Вилли собрался было соскочить с койки, чтобы броситься одеваться, но не смог этого сделать. Все тело его ныло и стонало, как после целого дня суровой работы, пра-

вое плечо горело из-за огромной, едва подсохшей ссадины, а безымянный палец правой руки распух, пульсировал и почти не шевелился. Боль в мышцах и суставах накатывала горячими волнами, то отпуская, то вновь заставляя мальчика стиснуть зубы. На коленях и груди виднелись засохшие пятна грязи, а в коротких волосах застряли клочки травы.

Когда-то Вилли довелось читать книжку про оборотня, и он вспомнил, что именно таким проснулся ее главный герой после того, как прорыскал всю ночь по полям в облике волка. Несмотря на боль, воспоминание это вызвало у него улыбку. Нет, оборотнем Вилли Кай не был. Просто подлая болезнь снова вернулась, и он опять ходил во сне, угодив, должно быть, в какую-то неприятность. Судя по всему, он грохнулся в подвал или даже в какой-нибудь овраг, если выходил из замка...

Не видел ли его кто-нибудь? Что, если он умудрился попасться на глаза одной из этих суеверных монашек, и его теперь ждет жестокое наказание? Вилли вспомнил об обещании сестры Бландины и, стиснув от боли зубы, начал одеваться, стараясь не поворачиваться к надзирательнице Ойдоксии израненным плечом. Правая кисть, простреливаемая болью из безымянного пальца, почти не слушалась его, и ему стоило огромных трудов и силы воли застегнуть пуговицы рубашки. Если он не обратит на себя внимание, то он спасен! В школьном гвалте его болячки уж точно никого не заинтересуют.

Но вышло иначе. Во время третьего часа господин Ленне, учитель географии, вызвал его к доске и велел показать на карте Карибское море. Машинально взяв протянутую ему указку, Вилли вдруг вскрикнул и уронил ее на пол, скривившись от боли. Недоумевающий господин Ленне приказал ему вытянуть вперед руки, и уже через двадцать минут Вилли Кай сидел в приемной местечкового врача, доктора Шольца, и что-то невразумительно мычал в ответ на его вопросы. Несмотря на все ухищрения, врачу никак не удавалось понять, где, когда и при каких обстоятельствах ребенок получил увечья. Убедившись, что мальчик ничего ему не скажет, доктор Шольц устало протянул: «Поня-атно...» и подал своей медсестре знак удалиться.

– Ну, молодой человек, теперь ты можешь спокойно и без страха рассказать мне, что с тобой случилось. Я уверен, что эти петровиргинки издевались над тобой... Ведь так?

Вилли помотал головой – нет, мол, не так.

– Да брось ты, в самом деле! – доктор был явно раздосадован упрямством пациента. – Я не первый день здесь работаю, мальчик, и мне прекрасно известны их методы воспитания! В силу определенных причин общественности приходится, ко всеобщему стыду, закрывать на это глаза, но только до тех пор, пока дело не идет о таких серьезных повреждениях, как у тебя. Ну, про ссадины можно забыть – отпереться от них ничего не стоит, а вот разрыв связок пальца не пройдет бесследно ни тебе, ни ключницам!

– Почему... не пройдет? – поднял глаза Вилли Кай. – Он же просто опух...

– Э нет, друг мой, не просто! Контрактуры теперь не избежать, и ты вряд ли сможешь когда-нибудь сжать кулак как следует... Необходима операция, а воспитанникам благотворительных интернатов, сам понимаешь, ничего такого не делают. Ну, теперь-то тебе ясно, почему нужно наказать того, кто так поступил с тобой?

Вилли грустно посмотрел на врача.

– Ясно, доктор Шольц. Но я и вправду ничего не знаю. Это случилось во сне.

Шольц поджал губы в знак недовольства.

– Во сне? Ты хочешь сказать, что монахиня подкралась, когда ты спал, и побила тебя безо всякой причины?

– Нет-нет, доктор, я лишь хотел сказать, что у меня этот... лунатизм, и я порой просыпаюсь, ударившись обо что-то, или вот, как сейчас, после...

Врач поправил очки на переносице и внимательно посмотрел на мальчишку.

– Ах да, припоминаю... Матушка Теофана передала мне выписку из Панкофена о страдающем сомнамбулизмом воспитаннике, до которой у меня еще, к сожалению, руки не дошли. Наверное, речь шла о тебе?

Вилли пожал плечами. Может, и о нем.

– Ну ладно, – продолжал Шольц. – Сейчас мы наложим шину тебе на палец и обработаем ссадины, а после я уж почитаю, что они там понаписали.

Врач сделал соответствующую запись, и в интернате никто не посмел мстить подростку за приступ его болезни. Тем не менее, стараниями сестры Бландины, в чьи руки попала справка, о нем стало всем известно, и на Вилли посыпались вопросы, подначки и издевки, которые могли бы отравить ему дальнейшее существование, если бы он переживал из-за таких мелочей.

Но его гораздо больше занимал возросший страх перед повторением случившегося: ссадины и раны ему случалось получать и раньше во время своих ночных «прогулок», но такие сильные повреждения и ужасная, не поддающаяся описанию утренняя усталость были ему в новинку. Судя по всему, болезнь его прогрессировала, от приступа к приступу становясь все более опасной.

Той ночью, когда Вилли сломал палец, он видел сон. Как это часто бывает, сновидение не сохранилось в его памяти, но оставило после себя стойкое неприятное ощущение, от которого становилось горько во рту и тошнило. Его охватывала паника при одной только мысли о том, что опять придет ночь и ему придется лечь в постель и уснуть! Вилли страстно желал проникнуть в тайну своего недуга или хотя бы уметь запоминать свои сновидения, но не мог сделать ни того, ни другого, мучаясь неизвестностью и строя догадки. Что, если это и в самом деле – проклятие Господа, которым мать его всегда пугала, и он обречен наносить себе все более и более тяжкие увечья до тех пор, пока, наконец, не погибнет? А может, ночью он живет совсем в другом мире, куда попадает, проваливаясь в... пелену сна, ту яму, в которую он каждую ночь силился не упасть, но всегда падал? Но ведь сон есть сон, и пусть бы сновидец совершал в нем самые необыкновенные странствия и подвергался самым суровым испытаниям – откуда взяться реальным повреждениям?

Тут его осенила догадка. Да нет же, нет! Все совсем наоборот! Он умер и живет сейчас в загробном мире, и все вокруг – школа, деревья, Карл с Шорши и сестра Бландина – иллюзия, мираж! А ночами его дух возвращается в свой «настоящий» мир, чего он здесь потом не помнит!

После этой мысли в ушах Вилли отчетливо зазвучал раздраженный голос матери: «Совсем чокнулся, маленький уродец! Нужно было тебя удавить еще в пеленках или, лучше того, вышвырнуть на помойку! В сумасшедшем доме тебе самое место!»

А вдруг это и есть объяснение всему? Он ненормальный, больной, неполноценный, и ему «мерещится всякий бред», говоря языком его мамы?

«Скорее всего, так и есть, – подумал Вилли огорченно, – но лучше было бы все же знать наверняка... Доктор Шольц кажется добрым и разумным человеком: нужно будет, пожалуй, спросить его об этом, после того как он прочтет, „что они там понаписали“».

А вечером, после отбоя, произошла одна очень странная вещь. Поговорив с воспитанниками о том о сем и рассказав им на сон грядущий одну из бесконечных своих историй, сестра Эдит ненадолго отлучилась и, вернувшись, протянула лежащему в постели Вилли кружку теплого травяного чая.

– Выпей, малыш, – сказала она грустно. – Напиток успокаивает, улучшает сон и уберезет тебя от новых травм и ссадин. И палец не будет так болеть.

Вилли опешил:

– Это... чай?

– Можно и так сказать. Отвар. Если ты будешь спокойно спать, то тебе не придется бродить во сне в поисках приключений. Многие из них, мальчик, ничего хорошего не приносят, поверь мне.

Голос сестры был ласковым и проникновенным. В нем слышались искреннее участие и неподдельная забота. Она сама заварила этот травяной чай, желая помочь своему новому подопечному, и несла его ему через весь монастырь, из самой кухни! Ну, разве это не удивительно?

Этот поступок чудной монашки вызвал непомерное изумление интернатских воспитанников. Сев в своих постелях, они все как один – ну, может, за исключением Шорши – раскрыв рты, наблюдали за невиданным доселе действием. Неужели одной из датских ключниц Господь и впрямь даровал доброе сердце? Может ли такое быть? Многие мальчишки не первый год находились под монашеской опекой, но ни о чем подобном и слыхом не слыхивали.

Сначала Вилли стало неловко, он боялся выглядеть смешным и даже попытался оттолкнуть от себя кружку, но, увидев добрые, печальные глаза сестры Эдит, постеснялся ей преколовить и выпил терпкий зеленоватый отвар. Минутой позже он почувствовал, как приятная усталость разлилась по всему телу, налив теплым свинцом ноги и голову. Вилли уснул, улыбаясь незнакомому ощущению, и спал как никогда спокойно и без сновидений.

На третий день, после завтрака, сестра Ойдоксия сообщила Вилли, что доктор Шольц вызывает его для перевязки. Смерив его злобным взглядом, она процедила:

– Понятия не имею, чего это ему вздумалось цацкаться с тобой из-за каких-то ничтожных царапин! При случае я обязательно поговорю об этом со старшей воспитательницей, а сейчас живо выметайся отсюда и отправляйся напрямик к доктору!

Вилли быстро кивнул и попытался выскользнуть за дверь, но был остановлен новым окриком монахини:

– И упаси тебя бог, оборванец, не явиться пред мои очи сейчас же после приема! Если я узнаю, что ты шлялся по улицам, то можешь заказывать по себе панихиду! Тогда ты проклянешь свою несуразную мамашу за то, что она произвела тебя на свет!

С «несуразной мамашей» Вилли был полностью согласен, к угрозам же сестры Ойдоксии отнесся философски – кровожадность безобразной старухи была всем известна.

По улицам городка он нарочно шел медленно, наслаждаясь утренней прохладой и относительной своею свободой.

У доктора Шольца ему пришлось подождать, но он нисколько не расстроился, с интересом разглядывая забавные медицинские картинки на стенах и двух суетливых медсестер, что заискивали перед пациентами и таякали друг на друга за ширмой. Пахло лекарствами, йодом и краской, от длинного радиатора-гармошки струилось приятное тепло, и Вилли, разморенный и притихший, чуть было не задремал на краешке скамейки.

– О! Господин Кай! – вывел его из сонного состояния веселый голос пожилого врача. – Очень хорошо, что вы пришли, мой милый, просто прекрасно! Ну, проходите же в приемную, хватит вам тут нежиться!

Доктор Шольц паясничал, но беззлобно. От его позавчерашней насупленности не осталось и следа, и он явно пытался прибаутками расположить к себе своего тощего, измученного на вид пациента. Рука врача, которую умудренный опытом Вилли пожал своей левой, была такой же теплой, как радиатор в комнате ожидания, и парнишка вдруг почувствовал доверие к этому пожилому добродушному человеку.

Доктор Шольц плотно закрыл дверь в кабинет и, указав Вилли на стул, сел напротив него. Шутливый тон его вдруг куда-то делся, врач разом посерьезнел и, взяв со стола пачку каких-то бумаг, потряс ею перед лицом юного пациента, словно прокурор неопровержимыми уликами.

– Вчера я прочел больничную выписку и просмотрел все, что мне удалось найти о твоём случае. Очень любопытная история, должен заметить! Представляю, сколько удоволь-

ствия получили монашки, читая эту несуразную заметку в «Фильсхофенском листке»... Твое снохождение, которого, впрочем, в больнице никто не засвидетельствовал, уже само по себе довольно интересно, а то, что произошло с твоей матерью, и вовсе очень странно.

– Почему? – прошептал съжившийся на стуле Вилли. – Почему странно?

– Да вот, видишь ли... Судя по тому, что здесь написано, – он взмахнул стопкой бумаг и бросил ее на стол, – ее облили чем-то липким и очень жгучим – ведь она буквально корчилась от боли. Все говорит за то, что это была кислота. Но кислота, малыш, непременно оставляет ожоги, а при такой площади повреждений и вовсе вызывает смерть. Твоя же мамаша покричала, повыла, покаталась немного по полу, а затем вдруг пришла в себя, отряхнулась и попросила у медсестер пива. Как, спрашивается, такое может быть? К тому же когда пришли из лаборатории, чтобы взять на анализ образцы той странной жидкости, то оказалось, что это и не жидкость вовсе, а некая похожая на пленку субстанция. Как тебе это?

Вилли пожал плечами. Его не очень интересовали все эти подробности, да и вспоминать о той ночи не хотелось. Мать выжила, и это хорошо. Он не должен больше угождать ей, и это еще лучше. Так чего же хочет от него этот любопытный старик?

Доктор Шольц велел медсестре принести лимонаду для юного пациента и, подождав, пока тот напьется, предложил:

– А знаешь что, парень? Расскажи-ка ты мне все по порядку! Сдается мне, что недуг твой не так прост, как кажется, и коллеги-психиатры пропустили что-то очень важное.

Мальчик насупленно молчал. Он не знал, может ли довериться Шольцу. Что, если старый доктор в ответ на его откровения поднимет его на смех и скажет, что подозрения подтвердились и Вилли – сумасшедший?

– Может, еще лимонаду?

– Нет, спасибо.

– Ну, так что же ты? Не бойся, малыш! Начни с самого начала!

– А где начало?

– Хм... Известно где – в родительском доме. Там всегда начало всего!

Вилли вздохнул. Ему очень не хотелось копаться в прошлом, но, быть может, этот добрый старик с теплыми руками и седыми взъерошенными волосами и впрямь поможет ему разобраться в том, чему он не знал названия?

Неурядиц, несчастий и катаклизмов в судьбе Вилли было предостаточно, и носили эти невзгоды различные имена: пьянство матери, жестокость чужих людей, беда, постигшая отца и бессердечный автоматизм административных решений, приведших его в психиатрическую лечебницу, а затем и в вальденбургский интернат для мальчиков.

На свет Вильгельм Теодор Кай, единственный совместный сын инвалида войны Кристофа Кая и крестьянской дочки Перпетуи, появился в нижнебаварском Фильсхофене – небольшом городке на берегу Дуная, примечательном разве что своей рыцарской историей да живописными речными пейзажами. Так случилось, что общины здесь издавна вели довольно обособленное существование – в каждой деревне был свой говор, который с трудом могли понять даже ближайшие соседи (не говоря уже об уроженцах более отдаленных мест вроде Мюнхена и Регенсбурга), и свой уклад жизни, понятный далеко не каждому. Поэтому и спутников жизни люди искали среди ближайших соседей – чтобы не было нужды мириться с чужими взглядами и «ломать язык». Автомобильная эра, а там и бурное послевоенное развитие экономики изменили это положение, но простолюдины, изучавшие в школе немецкий язык как иностранный, все еще робели перед «чужаками» и жили по старинке.

Такой была судьба и родителей Вилли. Вернувшийся в сорок четвертом году с войны без руки, неунывающий шорник Кристоф Кай двумя годами позже начал торговлю лесом и значительно преуспел в этом, учитывая набирающий обороты послевоенный строительный бум. Убе-

дившись, что оккупационные власти – «правильные», частной собственности у них не отнимут и красный флаг над ратушей не вывешают, лесозаводчики активно принялись за дело: от рассвета до заката визжали в окрестных лесах пилы, пытели работники и стонали под тяжким грузом трактора и лошади, доставляя бревна заказчикам. Этим заказчикам и искал для них Кристоф Кай, умевший пристроить лес по самой привлекательной цене и бравший за свои услуги очень умеренную комиссию. Одним словом, инвалид не зачах и не спился, как иные ожидали, а вновь обрел свою тропинку в жизни.

Небольшое его дело набирало обороты. Несмотря на усталость и необходимость работать по восемнадцать часов в сутки, Кристоф был доволен жизнью, чувствовал себя на своем месте и даже выстроил новый дом взамен родительского – большой, сельского типа, с террасой и прекрасным видом на реку. Его новенький «Опель-Капитен» наполнял мерным гулом мотора улицы, а хозяйева окрестных кабачков видели в нем почетного гостя. Высокий худощавый Кай – веселый сорокалетний калека – стал завидным женихом, и не нашлось бы во всей округе отца, имевшего дочку на выданье, который не желал заполучить его зятем. Судьба отчаянно кокетничала с ним.

Решив, наконец, обзавестись семейством, Кристоф не помчался по городам и весям, а просто посватался к дочери одного из крестьян-соседей, которого знал с детства. Польщенный, крестьянин тут же дал согласие на свадьбу, да и дочка его с вычурным именем Перпетуя против сделки не возражала, снисходительно протянув Каю свою удивительно белую для селянки руку. То обстоятельство, что супруг был почти на двадцать лет старше и когда-то увивался еще за ее матерью, никакой роли для Перпетуи не играло – мало ли что бывает! У соседей вон собака цепная с кошками спит, как поймает, и ничего, не мрут кошки!

После пышной свадьбы, на которой гордый жених не уставал нахваливать друзьям и партнерам свою новоиспеченную жену, Кристоф пристроил Перпетую учетчицей на один из продовольственных складов города, где ей положили неплохое жалованье за сравнительно непыльный труд и окружили вниманием и заботой. Сам он желал бы, разумеется, чтобы жена оставалась дома, вела хозяйство и заботилась о будущем потомстве (которое, кстати сказать, не замедлило зачатся), однако допустил одну из классических ошибок женихов – не разглядел в браке сделку и не обговорил ее условия перед тем, как расписаться. Другими словами, он не учел современных реалий и даже не подумал о том, что Перпетуя может иметь свой собственный взгляд на семейную жизнь и возжелает «пойти в люди на заработки». Но делать было нечего: новомодные американские штучки типа женского равноправия уже успели расстлать и его землячек, так что Кристофу Каю оставалось лишь склонить голову и смириться с неизбежным.

Дальше – больше: родив ему в октябре 1949 года сынишку, Перпетуя уже через четыре месяца вернулась на склад, спихнув ребенка какой-то своей «тетушке» – бывшей жене кузена сродного деверя ее матери, жившей в одной из деревушек чуть ниже по Дунаю. Ночи и выходные дни маленький Вилли проводил дома, а по будням был всецело предан «заботам» этой угрюмой старухи. Ухаживать за мальчиком и лечить его той было недосуг, так что он, лежа в грязи, беспрерывно вопил, захлебывался соплями и уже в десять месяцев получал от нее увесистые затрещины.

У Кристофа щемило сердце, когда он видел, в каких условиях содержится его отпрыск, но он ничего не мог с этим поделать, так как все светлое время суток вынужден был проводить в разъездах, а институт няnek или приемных семей тогда еще не существовал. Мужчина пытался увещевать жену, уговаривал, скандалил, давал какие-то обещания, а однажды даже слегка побил, но тем только усугубил свое и без того незавидное положение – тесть пригрозил ему расправой, полиция сделала внушение, а жена и вовсе перестала с ним считаться. Вдобавок в муниципалитете он получил выговор за то, что насаждает домострой и лишает женщину свободы выбора занятий.

Так и разладилось у Кристофа с женой. Он стал держаться от нее на расстоянии, а дома появлялся лишь чтобы поспать да погулять с подрастающим сыном. Скандалов между супругами не было – в доме царили молчание и усталое напряжение. Никто не кричал, и никто не смеялся, а Вилли все больше времени проводил у няньки-старухи, зачастую оставаясь там теперь и на ночь.

О выполнении Перпетуей супружеских обязанностей, конечно же, и говорить не приходилось: вот уже пару лет Кристоф спал один в комнате для гостей, о чем каким-то образом знала вся округа, неустанно над ним подтрунивающая.

Однако где-то его жена эти «обязанности», безусловно, исполняла, о чем Кай долгое время просто догадывался, а в конце концов и горько убедился. Произошло это так.

Однажды ночью его разбудил настойчивый стук в дверь. Спросонья Кристоф не понял, что происходит, сел в кровати и попробовал позвать спящую в другой комнате жену, но ни на его зов, ни на крик испуганного – в ту пору уже трехлетнего – Вилли ответа не последовало. Стряхнув остатки сна и тревожась все больше, мужчина заглянул в спальню Перпетуи и убедился, что ее в постели нет. Вот те раз! Что за черт? В дверь же тем временем стучали все более нетерпеливо.

Нацепив на себя что-то, Кристоф потянул дверной засов, и в дом тут же ввалилось несколько полицейских, наставивших на него дула пистолетов. Опешив, хозяин дома позволил отвести себя в кузов битого грузовика довоенных времен. Во дворе дома он заметил нескольких соседей, неизвестно каким образом здесь оказавшихся, и, что самое главное, Перпетую, рыдающую и заламывающую руки в притворном отчаянии. У него мелькнуло было теплое чувство к ней – как же, переживает! – но, после того как он узнал, в чем дело, чувство это сменилось иным, гораздо более сильным и стойким. Презрением.

В полицейском участке ему предъявили обвинение в избиении и изнасиловании госпожи Кай. Обвинение это было со всех сторон абсурдным, и прежде всего потому, что Кристоф, будучи деревенским парнем старой закалки, никак не мог взять в толк, как можно «изнасиловать» собственную жену.

– Разве же не долг и обязанность мужней женщины – удовлетворять страсть того, кто оказал ей честь, взяв ее в жены? – рассуждал он в полиции. – Где ж это видано?! Как можно говорить тут об изнасиловании?! Иной раз и оприходуется человек супружницу в часы ее нерасположения, ну и что с того? На то она и семья...

Ну, а во-вторых, как мы уже упоминали, гордый инвалид вот уже пару лет, как не призрагивался к Перпетуе ни законным, ни «преступным» образом. Он был убежден в том, что нормальный мужик не терпит брюзжания, оправданий и отказов, не скандалит, не добивается внимания к себе упреками (ибо это унизило бы его) и не пытается втянуть живот или приосаниться при виде жены, чтобы добиться ее благосклонности, а ведет себя достойно – прекращает пустые попытки, отправляется спать спокойно (без мысли «А вдруг?!») и, если есть еще порох в пороховницах, без промедления заводит себе пару-тройку бабенок из тех, что без комплексов, – не в отместку, но по необходимости. Вот и все.

Впрочем, нет, не все. Поразмыслив немного, Кристоф Кай счел нужным добавить, что, дескать, тот, кто хотя бы немного знает жизнь, не принимает на веру рассказы об усталости, тяготе забот и головных болях – он знает, что в этом случае, если речь идет о молодой здоровой бабе, то она идет и о некоем третьем лице, которое дамочка именуется «последней большой любовью», а вся округа – просто хахалем (а то и посочнее словечко подбирают). Потом она расскажет мужу, что «этот необыкновенный человек заставил ее почувствовать себя женщиной», и поведаст о том, как ей «жаль, что она не встретила его раньше». Она изумится толстокожести невежи-мужа и придет в ужас оттого, что «столько лет жила с ним и не подозревала, что вышла замуж за чудовище!»

Все это сказал Кристоф Кай в полиции, и все это его не спасло. Следователь рассказал ему, что час назад его жена Перпетуя, вбежав в участок, сползла по стенке на пол и, заливаясь слезами, попросила избавить ее «от этого зверя». Муж набросился на нее, словно коршун, и бесчеловечно, с применением побоев и угрожая причинить вред их ребенку, изнасиловал, избрав для этого постыдного действия самые извращенные, унижающие добропорядочную женщину способы. Она заявила, что происходит это не в первый раз, и лишь жалость к калекке и робкая надежда на то, что он когда-нибудь образумится, удерживали ее от решительного шага. Но на этот раз домашний тиран перешел всякие границы! Особенно страшны были его угрозы расправиться с маленьким Вилли, так что выбора он ей не оставил... Развод и тюрьма! Нет, лучше сначала тюрьма, а там уж и развод!

Комиссар полиции, который поведал Кристофу Каю эту душеспалательную предысторию, учился когда-то в сельской школе двумя годами позже него, и скамейка его семьи в местной церкви находилась прямо перед скамейкой семьи Кристофа, так что обоих мужчин связывало давнее знакомство. Если бы читатель видел глаза комиссара в тот день, то разглядел бы в них неприкрытую злость на несправедливость этого мира и безмерную досаду на невозможность помочь сидящему напротив него одnorукому человеку. Слуга закона, пожалуй, дал бы отсечь и себе руку за то, чтобы иметь право отпустить работягу и добряка Кристофа восвояси! Кристофа, что спас его когда-то от разъяренного пса старика Хаймерля; Кристофа, что показывал ему в детстве, как половчее выудить из-под бревна упрямую уклею; Кристофа, который первым ринулся тогда, морозным февральским утром, в горящий дом отца нынешнего комиссара полиции и вынес из огня не только его сестренку, но и собаку по кличке Грей... Кристофа, который – полицейский был уверен в этом – никогда не унижился бы до того, чтобы силой брать собственную жену, тем более будучи трезвым.

Подумал обо всем этом комиссар полиции и едва не заплакал. Как же так? Что же это за профессия у него такая? Зачем дана ему власть, если он не может пользоваться этой властью по справедливости? Почему он, грозный служитель закона, не в состоянии спасти от навета невинного человека, не может опровергнуть ложь наглой самки и привлечь ее саму к суду за клевету? Он – местный житель и слышал, что говорят люди! Он знает, как Кристоф переживал за сынишку и как эта блудливая тварь издевалась над ними обоими! Ему известно, что ее папаша – старый хрыч, падкий на чужое добро, – исподтишка обворовывал зятя, поддельывая купчие, и, конечно же, комиссар был наслышан о «прелестях» и безотказности этой чертовой Перпетуи, будь она неладна! Так как же быть?!

Полицейский в растерянности молчал. Мысли в его голове скакали, что кузнечики на газоне, – враспынную и безо всякого толку. Он еще рассуждал по старинке, и его возмущала необходимость давать ход этому делу. Это через несколько лет комиссар привыкнет к тому, что даже самые бредовые утверждения дам никаких доказательств не требуют, и успокоится, но в 1953 году матриархат еще не набрал силу, и иллюзия справедливости еще жила в некоторых романтических натурах...

Дальше – хуже. Для доказательства в тот же день была проведена медицинская экспертиза, которая показала, что Перпетуя действительно имела неоднократные «нежные» отношения с представителем противоположного пола, в том числе, как и поведала женщина, в довольно необычных для консервативного общества формах. Время генетических экспертиз еще не наступило, а посему никаких более точных исследований не требовалось. Возмущенная до глубины души тощая потрепанная прокурорша потребовала для изувера-мужа самого сурового наказания, и желающий ей угодить престарелый сластолюбец-судья счел предъявленные доказательства достаточными, а показания самого Кая и его друзей – попыткой выгородить подлеца. Маленький Вилли ничего не понимал, но чувствовал трагедию и рыдал, бессовестно пачкая новенькую голубую блузку матери соплями, а юрист по разводу лихорадочно подготавливал план раздела имущества.

Тем дело и кончилось. Кристоф Кай получил семь лет тюрьмы по позорной статье, «так-то верная, но оскорбленная» жена его Перпетуя – половину его собственности, а общественность в лице кумушек из женского комитета – глубочайшее удовлетворение. Вторая же половина состояния до освобождения отца перешла к Вильгельму Теодору, но, учитывая тот факт, что Вилли был несовершеннолетним, должна была управляться его ближайшей родственницей, то есть все той же Перпетуей. Приложив к глазам платок и картинно всхлипнув, женщина не смогла скрыть от суда, что «в глубине души все еще любит» Кая и не исключает возможности воссоединения семьи после его освобождения, при условии, конечно, что он осознает всю тяжесть и гнусность своего проступка.

Услышав это, всегда сдержанный и осторожный Кристоф Кай перечеркнул всякую возможность своего досрочного освобождения, во всеуслышание прокляв жену и поклявшись, что, выйдя из тюрьмы, первым делом расправится с «мразью». Тут конвойный по знаку судьи коротко, но памятно ткнул в зубы подсудимому прикладом, и заседание закрыли.

Чтобы закончить историю несчастного Кристофа Кая, скажем, что ему не удалось исполнить обещанное, так как до освобождения дело так и не дошло: на пятом месяце заключения он в драке отметелил зарвавшегося сокамерника, а следующей ночью был задушен во сне. Убийцу не нашли, да особо-то и не искали: в негласном указании тюремному персоналу Кай значился как «неисправимый и крайне опасный преступник, чье возвращение в общество, несмотря на относительно небольшой срок, очень нежелательно». Так сгинул, исчез с лица земли отец Вилли, оставив после себя лишь этого неразумного мальчишку и горькое недоумение в сердцах немногих своих друзей.

Словно очнувшись ото сна, доктор Шольц встрепенулся и взглянул на часы.

– У-у, дорогой мой, а мы с тобой засиделись! Твои монашки, чего доброго, начнут беспокоиться!

– Да уж... – невесело улыбнулся мальчик.

– Придется тебе поторапливаться. А, впрочем, скажи-ка... Откуда тебе известны все эти подробности?

Вилли пожал плечами:

– У бабки подслушал, да и соседи...

– Ясно. Ну, беги теперь! Да смотри, возвращайся завтра и не опаздывай, дружок! Ты еще многое должен мне рассказать!

Прощаясь, пожилой врач приобнял мальчика за плечи, затем прошел к окну и, задумавшись, долго смотрел вслед его сутулой, худощавой фигуре.

Глава 5

О детских горестях маленького лунатика, происшедших в кладовке и Перпетуе Кай

Вилли не посмел послушаться доктора и явился на следующий день к нему ровно в назначенный час. На этот раз он успел посетить основные школьные занятия и пропустил лишь урок спорта, от которого был освобожден по причине травмы.

Вновь пришлось ему занять место напротив Шольца и, напившись лимонаду, продолжить рассказ. Однако на этот раз – странное дело! – он чувствовал себя намного свободней, и речь его была не такой сбивчивой и скачкообразной. И начал он не с истории своей жизни, а с рассказа о том, как вчера вечером, после отбоя, благословенная сестра Эдит вновь принесла ему кружку того чудесного отвара, что забрал его страхи и позволил спать спокойно. Вилли начал уже привыкать к его вкусу, а завистливые взгляды, которые метал на него Карл-Бродяга, больше его не интересовали.

Услышав про невиданную заботливость одной из петровиргинок, доктор хмыкнул, но комментировать сообщение не стал. Задумчиво огладив бороду, он попросил молодого пациента продолжить свой вчерашний рассказ.

Когда отца засудили и отправили в тюрьму, Вилли едва сравнялось четыре года. Он рос забитым, боязливым, вздрагивал от каждого окрика и вжимал голову в плечи в попытке избежать подзатыльника: дальняя родственница его матери, в чьем неприветливом, сыром доме он теперь обитал постоянно, на оплеухи и зуботычины не скупилась, щедро одаривая ими «выродка». Стараясь быть тише воды, ниже травы, парнишка, казалось, еще больше раздражал свою престарелую воспитательницу, бывшую, несмотря на многопудовые слои сала от пяток до самых глаз, довольно резвой и поворотливой, когда дело касалось реакции на Виллины «паскудства». Ни дырка в носке, ни опоздание к столу, ни чуть косо заправленная постель не проходили незамеченными: кривя свои толстые синюшные губы, бабка демонстративно откладывала в сторону вязанье, картинно вздыхала и медленно-медленно, до бесконечности долго «вырастала» над ребенком, нависая над ним всей своей тушей. Несколько секунд она внимательно, прищурившись, изучала его испуганное лицо, будто видела впервые, затем так же неспешно размахивалась и роняла свою всегда скользкую от пота, тяжелую ладонь на голову Вилли, после чего он, как правило, падал на пол и пытался отползти куда-нибудь, скуля от боли, но пытаясь сдержать слезы. Ничего, он перетерпит, а скоро его обязательно заберут домой папа и мама – ведь папа обещал ему это! – и он заживет припеваючи, как те дети, с которыми он иногда играл во дворе.

Ну конечно заживет! Ведь дома – это вам не у бабки! Он как-то видел, как сестры и мать Маркуса раскачивают того на качели, весело хохоча при этом, и знал, что отец другого соседского мальчишки – рыжего шалопаю Свена – каждую субботу, после полевых работ, ходит с сыном на рыбалку к одной из заводей Фильса (однажды Свен нарисовал на песке рыбину, которую ему наемни удалось выудить, и все присутствующие едва с ума не походили от зависти). А совсем недавно, когда Вилли бегал по поручению бабки к деревенскому сапожнику, тамошняя хозяйка как раз разливала в большие кружки своих трех чад ароматный вишневый кисель, да взяла и ему налила зачем-то... Никогда в жизни маленький Вильгельм Кай не пробовал еще такой вкуснотищи! Ничего, что едва снятый с печки кисель обжигал губы и язык, а руки насилу держали тяжелую горячую кружку! Главным было то, что в эти мгновения он чувствовал себя таким же, как все; он вдруг поверил, что тоже имеет право смеяться, дурачиться и пить густую, пахнущую вишнями крахмальную жидкость... А когда жена сапожника потрепала всех ребят поочередно по волосам, не обойдя вниманием и его, Вилли вдруг заплакал. Горько

и потерянно. Радость вдруг ушла, и остались лишь обида и глубокое чувство безысходности. Удивленная хозяйка вытерла ему тогда слезы своим широким передником, вручила моченое яблоко и отправила домой, к зловерной, драчливой бабке.

Впрочем, собственных внуков – вечно ноющего и таскающего под носом зеленые, свисающие до самого пупа сопли Анди и его раскормленную донельзя сестрицу Зизи (что за дурацкое имечко!) – старуха просто обожала. Завидев одного из них, она менялась в лице, вытирала фартуком скользкие ручищи и, добыв из-за пазухи леденец на палочке или сахарный пряник, начинала крутить этим богатством перед носом ненаглядного внучонка, сюсюкая и умиляясь. Порой ей приходилось приложить немало усилий, прежде чем Анди изъявлял желание засунуть сладость в свой обрамленный зеленой слизью рот (вытереть внуку сопли бабка никогда не догадывалась). Тогда она отступала на два шага, складывала руки на животе и, счастливо улыбаясь, смотрела, как внучок «балуетса сахарочком». Картина эта повторялась едва ли не ежедневно – хоть и считалось, что ребята живут с родителями в соседнем Альдербахе, они целыми днями околачивались у отцовой матери.

Нужно ли говорить, что разноцветные леденцы и сахарные пряники «выродкам» не полагались? Вилли, конечно, не голодал: вареной пшеницы и картошки он мог есть вдоволь, а также всего, что росло в саду, – моркови, огурцов и кислых яблок, но никаких «сахарочков» от бабки он отродясь не видел, так как мать его заключила с родственницей весьма ясное соглашение: ребенок должен довольствоваться элементарным и ни в коем случае не разбаловаться, а иначе «ей потом будет с ним невоготу». Надо думать, что условия эти вполне соответствовали бабкиным желаниям и планам, так что споров не возникало.

Пасхальным днем 1954 года Вилли сидел на перевернутом ящике из-под овощей у забора и выкладывал перед собой из камешков корабль. Такое судно он видел время от времени на Дунае, куда раньше ходил с отцом, и решил во что бы то ни стало смастерить подобное и спустить его на воду. Подбирая камешек к камешку, он трудился над своим проектом несколько часов, пока появившийся неизвестно откуда Анди не поднял его на смех, сказав, что камни потонут в воде и корабль его никуда не поплывет. Что ж, Анди был старше Вилли, ему уже сравнялось шесть, и он, наверное, лучше разбирался в кораблях, но столь бесцеремонное постороннее вмешательство взбесило мальчика, и он не придумал в тот момент ничего лучше, чем схватить самый большой из камней – тот, что должен был красоваться на носу его посудины, – и запустить им в незваного советчика. Камень угодил Анди прямо между глаз. Умник дико взвыл, схватился за лицо и выронил при этом едва початый сахарный пряник в форме коровы, который Вилли тут же подхватил и спрятал у себя за пазухой.

На вой примчались бабка и Зизи, и причина Андиного несчастья вскоре была выяснена. Маленький наглец демонстративно рыдал, указывая грязным пальцем на Вилли, и захлеб нес какую-то несурязицу, причем в его сбивчивой тираде были хорошо различимы знакомые бабкины термины «выродок» и «скотина», а также призыв «исхвастать как сидорову козу». Ослушаться приказа любезного потомка взбешенная старуха не посмела (да и не желала), и провинившийся столь ужасно Вилли был тут же нещадно «исхвастан» тонким шнуром электрического кипятильника и брошен в кладовку до самого вечера. Оказавшись внутри тесной каморки под лестницей, ребенок услышал, как снаружи клацнул засов, и понял, что заперт.

В кладовке нестерпимо воняло плесенью и старым тряпьем, на кучу которого мальчик и прилег, стараясь не плакать. Боль в истерзанной коже стала еще сильнее, но он лишь закусил нижнюю губу и часто дышал, испытывая лютую ненависть к проклятой бабке и всему ее семейству. Щелеватая дверь пропускала немного света, падавшего на пол кладовки и собранное здесь старье длинными желтыми полосами, похожими на прутья садовой решетки. Где-то далеко мычал чей-то осерчавший бык да по-прежнему сюсюкала отвратительная старуха, пытаясь утешить «крошку-внучка» очередным пряником, а то и шоколадной конфетой.

Ах да, про пряник-то он и забыл! Вилли запустил руку за пазуху и извлек сахарную корову, которую забрал у вопящего Анди в качестве трофея. С остервенением запустив зубы в ее мягкий глазурный бок, он постарался отвлечься от боли и стал по привычке мечтать о том времени, когда родители заберут его к себе и он заживет наконец по-человечески. То ли сладость пряника успокоила мальчонку, то ли несбыточные его мечты, но скоро он пригрелся, разомлел и даже не чувствовал больше затхлого запаха старого белья. Израненная кожа понемногу перестала зудеть, а глаза поневоле начали слипаться. Четырехлетний организм Вилли явно не собирался долго страдать от несправедливости какой-то старой карги и искал способы восстановиться. Пускай Анди и Зизи жуют там свои конфеты и наслаждаются вонючими лобызаниями слюнявой бабки – ему и здесь хорошо.

Покончив с пряником, Вилли принялся с интересом осматривать внутренности кладовки, к полумраку которой давно привык. Ничего заслуживающего внимания здесь, правда, не было, но любознательному уму четырехлетнего мальчугана было достаточно и того немногочисленного, что он сумел обнаружить: тут были стопки старых книг и журналов, ведра с засохшими в них тряпками, швабра, рваная рыболовная сеть и какие-то проволочные спирали, назначения которых Вилли не знал, – все это могло бы стать кладом для мальчишки. Счастливого мальчишки, конечно.

Чуть привстав, он попытался дотянуться до висевшей на стене старой шляпы с пером, но не удержал равновесия и навалился на дверь в кладовку. К немалому его удивлению, дверь подалась и с легким скрипом приоткрылась, так что он чуть было не вывалился наружу. Что такое? Ведь Вилли собственными ушами слышал, как бабка запирала ее на засов, чтобы не допустить побега! Неужели он настолько был погружен в свои мысли, что не заметил, как она вернулась и отперла его, сжалившись? Но почему она тогда не приказала ему выходить? Да и лязг старой чугунной планки засова он наверняка бы услышал...

Не переставая удивляться, Вилли осторожно нажал на дверь и выглянул наружу. Солнце ушло, и широкая бабкина прихожая, служившая также комнатой для приема гостей и бельевой сушилкой, уже погружалась в темноту. Большие полотнища сушащихся там простыней утратили в потемках свои незамысловатые набивные узоры и казались серыми; их тяжелый мыльный запах бил в нос и заставлял морщиться.

Мальчик напряг слух, но дом словно вымер: ни детских голосов, ни старухино брзжания, ни даже извечного мяуканья хозяйских кошек он не услышал и решил, что все они отправились во двор наслаждаться теплом апрельского вечера и остатками сахарного пасхального зайца, которого бабка любовно испекла для своей семьи еще вчера. Вилли, правда, тоже достался кусочек этого лакомства, но столь крошечный, что только раздражил его аппетит. Проглотив его, он протянул было руку еще за одним куском, но бабкина невестка – мамаша Анди и Зизи – легонько шлепнула его по пальцам и велела не наглеть. Он притих и молча наблюдал, как огромный кусок посыпанного сахарной пудрой зайца отправился в широко раскрытый рот жирной невесткиной дочери, которая стала жевать его, смачно чавкая. Правда, она тут же поперхнулась и закашлялась, крошки пирога полетели у нее изо рта и носа по всей террасе, а бабка с мамашей бросились хлопать ее по спине и причитать...

То были неинтересные воспоминания, и Вилли отмахнулся от них.

Куда бы ни подались хозяева, но в доме их точно не было. Это обстоятельство было на руку Вилли – он мог покинуть место своего заточения незамеченным и попробовать немного поиграть на заднем дворе. Анди, конечно же, разрушил его корабль из камешков, но что за беда! Он построит другой – может быть, даже еще больше и красивей!

Осторожно прикрыв за собой дверь кладовки, мальчик прополз под свисавшими почти до самого пола простынями (и чего это бабка до сих пор сушит их в доме, ведь на улице такая теплынь!) и, стараясь ступать как можно тише, стал пробираться к лестнице, ведущей в подвал. Он спустится по ней, пересечет темное сырое помещение и выйдет напрямик в сад с другой

стороны дома. А поскольку все бабкино семейство, конечно же, восседает на террасе перед фасадом, то никто его не заметит и он сможет убежать хоть до самого Фильса!

Однако, приступив к исполнению своего плана, малолетний хитрец столкнулся с неожиданным препятствием: лестница была завалена разномастными коврами, половиками и паласами, которые нерадивая бабка собиралась, но не успела почистить к Пасхе, а потому не придумала ничего лучше, чем просто свалить в кучу на пути в подвал, где они, по ее мнению, не будут мешать гостям. Быть может, она надеялась, что ее сынок, просить которого о чем-то было бессмысленно, сам заметит этот бедлам и предложит вынести тяжелые ковры в сад. Сынок ковров не заметил и сильно осложнил тем самым положение Вилли, которому нечего было и думать о том, чтобы перебраться через всю эту кучу, едва ли не упиравшуюся в потолок.

Постояв некоторое время перед горой вонючих половиков, мальчишка решил-таки попытаться расчистить себе путь на волю и потянул за один из них, пробуя «гору» на прочность. Но половик был придавлен другими и с места не сдвинулся. Тогда Вилли попробовал протолкнуть вперед самый верхний небольшой ковер в надежде, что тот скользнет в подвал и освободит достаточно широкий лаз. Поначалу ковер подался и стал тихонько съезжать с кучи своих «товарищей», но вскоре застыл, упершись во что-то. Бывший узник кладовки разглядел, что скрученный рулоном коврик уткнулся в притолоку и потому не может скользить дальше. Нужно было лишь немного помочь ему, и изобретательный малец бросился назад в кладовку, чтобы через минуту вернуться с длинной шваброй. Взявшись за щетку, он начал просовывать ручку между коврами и потолком, пока не достиг бруса-препятствия. Еще одно усилие, и ему удалось протолкнуть задравшийся уголок ковра под притолоку. Словно смазанный салом, коврик скользнул вниз и исчез в подвале, а секундой позже оттуда раздался ужасающий грохот, прокатившийся по всем уголкам дома. Мгновенно вспотевший от страха, Вилли вспомнил, что бабка уже приготовила инвентарь и ведра для чистки ковров и оставила их прямо под лестницей. В эти-то ведра, наверное, и въехал с разгона его коврик, устроив тарарам и похоронив все его надежды скрыться незаметно. Так и оказалось: уже через несколько секунд до слуха проказника долетел топот множества ног по террасе, и входная дверь с шумом распахнулась.

...От этого-то шума Вилли и проснулся. Ничего не понимая, он обвел испуганным взглядом нутро кладовки, которую, как оказалось, и не покидал, и сел на куче тряпья, разминая затекшие конечности. Он осторожно тронул дверь и убедился, что она по-прежнему заперта, так как бабка, разумеется, и не собиралась отодвигать засов. Но что же это тогда было? Неужели ему все приснилось? И открытая дверь кладовки, и ковры, и упрямая притолока?

Между тем снаружи доносились крики бабки, ее сына и вездесущих Анди и Зизи. Они ужасно галдели, ругались, гремели чем-то и топали, как слоны. Вилли окончательно проснулся и внимательно прислушивался, не понимая, что происходит. Наконец ему удалось разобрать выкрик хозяйки:

– Ума не приложу, как это могло произойти! Клянусь, если бы этот паршивец не сидел у меня сейчас под замком, я подумала бы, что это его козни! Но оттуда ему не выбраться, поэтому...

– Ты что, заперла его в кладовке, мать? – прогнусавил ее сын, и дружный хохот собравшихся лучше всяких слов одобрил действия бабки. – Когда это случилось?

– Да вот, как только вы с женой уехали поздравить соседей, так он и распоясался! Залепил Анди, понимаешь ли, каменнойгой между глазонек, шишка вон какая вскочила!

– Да что же ты, мать, сразу не рассказала мне об этом?! Я бы его, свиненыша, собственными руками... – взвился было тот, но старуха поспешила успокоить его:

– Ну, ну, полно, милый! Мы его с Анди и сами проучили как следует, правда, птенчик мой?

Раздалось несколько громких слюнявых чмоканий, после чего подлый паршивец вновь вымученно завыл, желая, видимо, подвинуть отца на еще одну экзекуцию запертого в кладовке «преступника».

Однако бабкин сын уже почти утихомирился.

– Но ведь швабра-то – из кладовки, мать! Как она здесь оказалась?

– Хм... Действительно... Наверное, я доставала ее зачем-то, да позабыла убрать. Да бог с ней, со шваброй! Удивительно другое: три дня лежали здесь эти тяжелые ковры и не шелохнулись, а тут, понимаешь, заскользили! Да... *тяжелые*...

Бабка намеренно сделала акцент на слове «тяжелые», намекая отпрыску на его сыновний долг, но никакой реакции не дождалась и сипло вздохнула:

– Ладно, пойдете на террасу!

– А этот?

– Пусть еще посидит под замком, глаза бы мои его не видели!

– Вот-вот! Верно, мать!

Топот ног и стук двери. Снова тишина. Взволнованный и перепуганный услышанным «этот» скосил глаза на стену кладовки, где он, перед тем как заснуть, видел швабру. Ее там не было.

Это странное событие, поначалу очень взволновавшее маленького Вилли Кая, быстро затерялось в архивах его памяти. Разумеется, в силу возраста он не мог проникнуться его значимостью или сделать какие-то выводы, а потому уже через несколько часов перестал обо всем этом думать. Да и до раздумий ли ему, когда нужно постоянно быть начеку и стараться поменьше попадаться на глаза злобной бабке и ее чокнутому семейству, считавшему его змеиным отродьем?

Вилли не был посвящен в подробности беды, постигшей его отца. Не знал он и о том, какие указания дала его мать своей свойственнице касательно его воспитания, а потому, переехав к бабке, искренне старался «вести себя как подобает», веря, что тем самым сможет избежать издевательств. Но люди бывают разные, и бабка относилась к тем из них, которым лишь по чистой случайности не довелось взять в руки плетку-семихвостку надзирателя концентрационного лагеря. Осыпая сочными поцелуями раскормленные задницы собственных внуков, она без устали терзала тощий зад и спину Вилли узким ремнем и шнуром от кипятильника, отчего он вечно ходил полосатым, как зебра. Жизнь ребенка превратилась в сплошную череду наказаний, кар и «сдираний шкуры с этого гаденыша», которые ему не удавалось предотвратить ни послушанием, ни осторожностью.

Со временем он понял, что причина его мучений кроется не в его поведении, а в чем-то другом, гораздо более весомом, и окончательно замкнулся. Он старался избегать встреч с хозяйкой дома, ее избалованными потомками и громкоголосыми, красномордыми гостями, а отраду находил лишь во снах, всегда цветных, теплых и безопасных.

Вот он бежит по залитой солнцем лужайке, кормит пригоршнями проса птиц и играет с другими детьми, похожими на него самого или на соседского Маркуса, а не на подлого нытика Анди или толстую жадную Зизи. Олененок Лу, живущий там, во сне, подбирает своими теплыми мягкими губами крошки с его ладони, а пузатые желто-коричневые пчелы не жалеют для него, в отличие от бабки, своего вкусного густого меда.

В другом сне он вместе с отцом ловит рыбу в Фильсе, с замираньем сердца ожидая подергивания поплавок, сделанного из пера и пробки от винной бутылки, а Кристоф Кай, обняв сына своей единственной рукой, шуточно трется о его щеку колючим подбородком и исподтишка щекочет его подмышку. Вилли чувствует, как бьется отцово сердце, и прижимается к нему еще сильнее, счастливый и спокойный. Удача не оставляет рыбаков, и вот уже самодельный поплавок дергается, дрожит и скрывается под зеленоватой водой, а через секунду им под ноги шлепается, искрясь чешуей в лучах утреннего солнца, килограммовый язь...

Действие снов малыша всегда разворачивалось в одной и той же местности – на речке Фильс и прилегающих к ней лужайках, так как за свои четыре года он еще не успел узнать и увидеть ничего другого. То, что он переживал в своих сновидениях, казалось ему пределом мечтаний и наивысшим счастьем, и даже спустя годы Вилли Кай не изменит своего мнения и станет уверять, что так оно и было.

Днем же Вилли забивался в какой-нибудь дальний угол и мечтал о том времени, когда родители наконец уладят все свои срочные дела, о которых ему постоянно говорила забегающая на пару минут в неделю растрепанная мать, и заберут его отсюда домой. Там у него каждый день будет компот из садовой сливы, а по воскресеньям – кисель и пряники, как у детей деревенского сапожника. А потом он пойдет в школу, где учитель расскажет ему, какие существуют на свете города, кроме Фильсхофена, и почему ночью темно, зимой холодно, а в сене живет так много комаров... Он снова и снова представлял себе тот день, когда мать придет сюда не одна, а вместе с отцом и скажет: «Забирайся-ка, сынок, побыстрее в машину! Мы едем домой!»

Однако Перпетуя не очень-то торопилась. Ее новый роман, о котором знала уже вся округа, набирал обороты, и какому-то там ноющему сопливному пацаненку в ее теперешней жизни места не было.

Новой пассией кладовщицы оказался здоровый, красномордый парниша лет сорока со странным именем Барри, подвизавшийся где-то на перевозках. Барри обожал шумные компании, карты и шнапс и мнил себя почему-то знатоком биржи. Замахнув стаканчик, он пускался в длинные, пространные рассуждения о тактиках игры на повышение и понижение и даже чертил какие-то «графики курсов акций», чем приводил в полный восторг свою малограмотную любовницу. Он плел ей истории об их скором непомерном обогащении, а Перпетуя взвизгивала от удовольствия и порывисто обхватывала сзади волосатые плечи своего Барри, утыкаясь носом в его лоснящийся жиром, вечно потный загривок. Она не уставала расхваливать каждому встречному необыкновенные качества бой-френда и перечислять «все, что он для нее сделал». (Сделал он и вправду немало: автор этих правдивых строк рискнет предположить, что это именно пьяный Барри-перевозчик поспособствовал созданию «доказательств» для поимки мужа-насильника).

Жизнь молодая пара вела, разумеется, разгульную, чтобы не сказать разнузданную. Перпетуя с головой ушла в новую любовь, утонув и завязнув в ней, словно кирпич в чане с гидромом, и не вспоминала ни о сыне, ни о работе. Да и зачем ей было работать, когда доставшейся ей после развода доли мужниного состояния с лихвой хватало не только на нескончаемые пиры, украшения и наряды, но и на дорогие подарки ее милому Барри, в короткое время разожравшему такую ряху, что и бегемоту не снилась, и вконец обнаглевшему.

«Опель» Кристофа, доставшийся ему «по наследству», Барри разбил уже через две недели, въехав по пьянке в привязанную у кабака лошадь, но тут же получил взамен новенький «Бенц» с кожаными сиденьями, на которых его грузная задница всегда оставляла влажные блестящие полукружия. Подруга его корчила из себя светскую даму, атакуя с пятницы по понедельник мюнхенские салуны, а по будням восторгаясь мазней современных мастеров в выставочных залах округа. Она совершала набеги на модные магазины и не скупилась на чаевые смуглым хлыщам-официантам. Косметику на свою светящуюся счастьем и глупостью физиономию она накладывала теперь на французский манер, и с каждым днем все больше разноцветных теней оседало на ее начавших покрываться сетью морщинок веках, отчего они выглядели распухшими, тяжелыми и делали Перпетую похожей на болезную китайку. Завидев своих бывших подруг – кладовщиц да «деревенских клуш», как она выражалась, мамаша Вилли брезгливо морщила свой напудренный нос и демонстративно отворачивалась, показывая, что не желает иметь с ними ничего общего. Собственного отца, когда-то ловко пристроившего ее замуж, а позже столь рьяно нападавшего на недостойного зятя, она больше не навещала, боясь замарать свою репутацию светской львицы родством с немытым хлебопашцем.

Однако, несмотря на все потуги и разбрасываемые пригоршнями чужие деньги, Перпетуя так и не была принята в круг людей интеллигентных и воспитанных. Ни жены профессоров, ни даже пассии нуворишей не желали проводить время в обществе глупой визгливой истерички, слушать ее пошлости и терпеть фамильярное обращение. Будучи плебейкой до мозга костей, Перпетуя упорно лънула к патрициям, но была отвергнута. Это обстоятельство злило и раздражало бывшую кладовщицу, заставляя ее тратить еще больше денег на барахло и шик, пока, наконец, не случилось то, что неминуемо должно было случиться, – деньги бывшего мужа кончились, и даже доля Вилли, которой она должна была «с умом и сердцем» управлять, была полностью промотана. Кредиторы забрали за долги основанное Кристофом Каем дело, а остатки капитала, припрятанные на отдельном банковском счете, прикончил любимый Барри, всадив их в какие-то рискованные акции, которые, разумеется, прогорели.

Неудачи и несправедливость окружающего мира подкосили Перпетую. Она чертыхалась, брызгала слюной и обвиняла всех и вся в своем провале. Ухмылки бывших соседей по ресторанным столам вызывали у нее вспышки ярости, и однажды, кинувшись на кого-то с выпущенными когтями, она даже была препровождена в полицейский участок, где ей сделали «прививку от дурасти» в виде штрафа. После этого случая несчастная поменяла тактику: она начала сама строчить обвинительные заявления, требования возмещения ущерба и даже анонимные статьи в местную и центральную прессу, в которых разоблачала то тех, то других «подлецов» и настаивала то на эмансипации женщин, то на освобождении угнетенных народов. Газеты эту малограмотную писанину, разумеется, отвергали, и тогда Перпетуя составляла кляузы и «ноты протеста», в которых требовала покарать печатные органы за ее унижение и дискриминацию.

Все это продлилось несколько месяцев, после чего шторм негодования Перпетуи внезапно схлынул, сменившись глубоким штилем. Всплакнув по своей разбитой судьбе и отчитав бросившего работу Барри, женщина смыла с постаревшего от попок и бессонных ночей лица остатки косметики и отправилась на свой прежний склад, где униженно мялась на пороге и умоляла своего бывшего хозяина сжалиться над нею и принять назад. Желая посмаковать ситуацию, тот сделал вид, что раздумывает, и, подперев голову широкой ладонью, долго рассматривал жавшееся к дверному косяку потрепанное создание. Перпетуя же, истолковав поведение начальника как нерешительность, тут же попыталась ускорить процесс и предложила ему в уплату за отзывчивость свои потасканные прелести. Тут уж главный кладовщик не выдержал и в голос расхохотался, после чего, не поленившись, поднял из кресла свое грузное тело и вышвырнул бывшую светскую львицу за дверь.

Оставшись не у дел, женщина не отчаялась и, прихватив своего возлюбленного, отправилась к отцу.

– Раз уж ничего другого не остается, придется нам терпеть этого зануду, Барри. По крайней мере, сыты, одеты и обуты будем точно, а там уж и поглядим, что делать дальше, – говорила она дорогой.

Барри мычал в ответ что-то невразумительное и стрелял глазами по сторонам в поисках знакомых: накануне он порядком перебрал, и ему ужасно хотелось похмелиться. Но улица, как назло, была пустынна, а редкие крестьяне, которых можно было увидеть через плетни их хозяйств, не обращали на страдальца никакого внимания и явно не собирались утолять его жажду. Подонки!

Поворот, еще поворот, и парочка оказалась у двери отчего дома Перпетуи. По обе стороны свежеразкрашенного крыльца шел палисадник, а маленькая, почти незаметная калитка вела в обширный внутренний двор с хозяйственными постройками, через который можно было попасть на дорогу, убегающую в поле.

С того места, где стояли Перпетуя и Барри, было видно, как по двору важно вышагивает большой разноцветный петух, наблюдая за порядком среди двух десятков своих жен. Рябые вальяжные курицы были заняты поиском зерен среди разбросанных тут и там клочков соломы

и не обращали никакого внимания на пришедших. Чуть дальше, у амбара, замер трудяга-трактор, а коряво написанное отцовской рукой объявление на заборе сообщало, что здесь можно купить свежий лук и картофель, причем покупателю предлагалось проходить прямо к амбару и обслуживать себя самостоятельно.

– Послушай-ка, дорогая... У него точно найдется, чем опохмелиться? – в третий раз спросил Барри, почесывая небритый подбородок.

– Ну конечно, красавчик мой, – повернулась к нему подруга и ласково потрепала милого по плечу. – Неужели ты думаешь, что баварский крестьянин не держит в доме спиртного?

– Да держать-то держит, но вот плеснет ли?

– О, тут можешь не сомневаться! Папаша у меня – сама гостеприимность, к тому же мы с ним давно не виделись, и он будет без ума от счастья. Да он окажет тебе такой прием, какого ты никогда не видел!

Судя по постной физиономии Барри, он не был так уверен в хлебосольности Перпетуино папаша, но готов был рискнуть – уж больно хотелось выпить.

Женщина громко и уверенно постучала в крепкую, окрашенную в синий цвет дверь и прислушалась. Она надеялась застать отца дома, так как общаться с нелюдимой, скупой на слова матерью ей не хотелось.

Послышались чьи-то шаги, и спустя мгновение дверь распахнулась. На пороге возникла фигура крупного мужчины в рабочем комбинезоне, под которым виднелась национальная рубашка в крупную красную клетку. В волосах мужчины застряла солома, а покрытые седой трехдневной щетиной челюсти усиленно двигались, перемалывая что-то. Пахло жареным цыпленком и уксусом; у проголодавшегося Барри свело желудок.

– Ну? – произнес хозяин дома и сделал большой глоток из глиняной пол-литровой кружки с эмблемой местной пивоварни, которую держал в руке. Похмельный Барри едва не потерял сознание от предвкушения счастья.

– Что – ну? – весело ответствовала Перпетуя, игриво сдувая со лба челку. – Это же я, папочка, или ты не узнал любимую дочь?

Дурачась, она продемонстрировала отцу свой профиль, явно ожидая возгласов удивления и суровых колючих объятий.

– Ну? – повторил крестьянин, и в голосе его послышалось раздражение. – Здесь не подают! Убирайтесь отсюда оба!

И мужчина захлопнул дверь перед самым носом дочери.

Озадаченная таким приемом, та на мгновение лишилась дара речи, но быстро опомнилась – выругавшись, она еще энергичнее заколотила в дверь, пытаясь вложить в стук все свое негодование.

– Ничего, Барри! Сейчас все уладится!

Какое-то время за дверью было тихо, потом она тихонько приоткрылась, и в образовавшейся щели появилось бледное, покрытое густой сеткой морщин лицо женщины маленького роста.

– Чего ты стучишь, Перпетуя? Зачем ты пришла?

Перпетуя отступила на шаг и картинно уперла в бок левую руку.

– Что значит – зачем, мама? Я вернулась домой! Со мной мой жених, и я ожидаю, что вы...

Женщина не дала ей договорить:

– Уходи, Перпетуя. Отец не хочет тебя видеть.

– То есть как это – не хочет? Это что же такое получается? Мы приходим к вам в гости, рассчитывая на теплый прием, а он не хочет нас видеть?

– Не хочет, – угрюмо подтвердила мать.

– Но почему? Что случилось?

За спиной сухонькой женщины послышался кашель, и секундой позже дверь вновь распахнулась настежь.

– Отойди-ка, мать! Сейчас я объясню этой шлюхе, что случилось!

– Но, может быть... – старушка умоляюще взглянула на мужа снизу вверх, но, наткнувшись на его стальной взгляд, понурилась и скрылась в доме.

– Так вот, женщина! – крестьянин не говорил, а словно чеканил каждое слово. – Заруби себе на своем напудренном носу, что дверь этого дома для тебя навсегда закрыта! Грехов, что я наделал по твоей милости, мне хватит замаливать до смерти, да и мать твоя, как помрет, отправится прямиком в ад за то, что народила такую тварь. Поэтому бери-ка ты своего говнюка и отправляйся восвояси!

Дверь снова захлопнулась.

– Но, папа! – закричала Перпетуя, прильнув к двери и едва не впадая в истерику. – Нам некуда идти! Нам нечего есть! Я прошу тебя, папа!

– Вон отсюда! – донесся из глубины дома звериный рык. – Или мне взять кнут?

– Старая сволочь! – выкрикнула в сердцах отвергнутая дочь и тут же, испугавшись своих слов, прикрыла рот ладонью. – Ладно, Барри, пойдем отсюда! Нашу каморку у нас никто не отобрал, да и прокормимся как-нибудь. Кукурузу воровать будем! – последние слова она выкрикнула в сторону двери и, топнув ногой, сбежала с крыльца. Похмельный друг ее понуро поплелся следом.

Начинало смеркаться. Доктор Шольц, слушая Вилли, похрустывал костяшками пальцев и смотрел в окно. Со стороны могло показаться, что он заскучал и занят своими мыслями, но так мог подумать только тот, кто совсем не знал пожилого вальденбургского врача. На самом деле он не пропускал ни слова и, внимая мальчугану, сравнивал его рассказ с той информацией, которую ему удалось добыть у своего коллеги из Фильсхофена, – тот, будучи зрелым мужчиной, видел и понимал, конечно же, больше, чем маленький Вилли, путающий факты со своими чувствами и мешающий все в одну кучу.

Немало слышал Шольц в своей жизни таких душераздирающих историй, не в одну семейную драму пришлось ему вникать ради блага его пациентов, но случай Вилли Кая почему-то казался ему особенным. Внутренний мир мальчишки, как и его странный недуг, чрезвычайно интересовали доктора, а непонятное происшествие с его матерью требовало разъяснения. В отличие от полицейских, коллег-психиатров и алчных до сенсаций журналистов Шольц ни на секунду не поверил тому, что Вилли, этот запуганный, мечтательный юнец, мог добыть где-то ядовитую жидкость и облить ею спящую мать, пусть даже и такую никчемную.

– Ну что ж, дорогой мой пациент, на сегодня достаточно. Уже темнеет, и, боюсь, твои набожные благодетельницы не обрадуются твоему столь позднему возвращению.

Вилли глянул на часы, что висели, покачивая маятником, на стене над седой взерошенной головой доктора. Почти шесть. Он вздохнул.

– Скоро наступит лето, и день будет длиться долго. Тогда сестрам не придется о нас беспокоиться, и режим в интернате, надеюсь, станет помягче, – он улыбнулся врачу и поднялся, собираясь прощаться.

– Хм... Ты полагаешь? – с сомнением прищурился Шольц. – Что ж, может, ты и прав. Ну, до завтра?

Он коротко пожал холодную ладошку мальчика и проводил его до двери, за которой все еще ожидали приема самые терпеливые пациенты.

Сам того не желая, Вилли оказался на особенном положении в интернате, и были тому три причины. Во-первых, он каждый день ходил к врачу, у которого просиживал гораздо дольше, чем того требовал осмотр его ран. Во-вторых, благодаря такому заступнику ему в

ближайшее время не грозило *вразумление* (трусливые садистки боялись открытых скандалов), и он мог позволить себе игнорировать некоторые приказы Ойдоксии. Ну и в-третьих – новичок пользовался особым вниманием сестры Эдит, по-прежнему приносившей ему перед сном кружку травяного чая и смотревшей на него с настороженным сочувствием, а это, по сиротским меркам, дорогого стоило.

Такое положение вещей просто не могло не злить некоторых однокашников Вилли, и прежде всего, конечно, Бродягу. Тот костерил «подлеца» на все лады, громко фыркал при виде его и строил планы мести, немедленному осуществлению которых мешало лишь присутствие флегматичного, крепкого, как скала. Шорши. Раздосадованному Бродяге не оставалось ничего другого, как исподтишка плевать Вилли в постель да подбрасывать в его обувь сапожные гвозди, которые тот, впрочем, всегда вытряхивал, перед тем как обуться.

– Ну что, гуляка? Завтра опять попрушься к старикану? – начинал Карл-Бродяга свой ежедневный допрос. – Что ты там делаешь, интересно?

– Мне нужно. У меня палец, – Вилли понимал, что прыщавый завистник просто придирается, но старался быть дружелюбным.

– Рассказывай! Два часа он тебе, что ли, перевязку делает? Ты смотри там! Я слышал, старые доктора и священники до мальчиков охочи!

Бродяга мерзко захохотал и обвел взглядом спальню в поисках ценителей его юмора. Пара-тройка подхалимов прыснула. Ободренный, Карл добавил:

– И когда это у вас началось? Как он тебя уговаривал?

Вздыхнув, Шорши отложил книгу:

– Придется мне, видать, тебя самого сейчас уговорить, тупая ты жердь!

– Но-но! – замахал руками Бродяга. – Шутки надо понимать!

На следующий день Вилли вновь отправился к доктору Шольцу.

Глава 6

Вилли рассказывает о своей матушке, несчастливом дне рождения и о том, что случилось дальше

В дверь старого, требующего капитального ремонта домика на краю Фильсхофена энергично задолбили. От стука в окнах задрезжались стекла, а со стены у замусоренного крылечка оторвался и разбился вдребезги о бетон пласт штукатурки. В темном от копоти оконце показалась чья-то взъерошенная голова, а через секунду грязно-белая занавеска задернулась, давая понять непрошеным гостям, что хозяева не расположены их принимать. Такая наглость взбесила стучавшего, и он замолотил в дверь уже двумя кулаками.

– Открывай, сволочь! На этот раз я знаю, что ты дома! – прокатился по всему переулку сиплый старушечий крик. – Молоти, сынок, молоти в эту проклятую дверь, пока она не разлетится в щепы! А не откроют, так я полицию позову! Полицию, ясно тебе, гадина?!

Щуплый мужчинка, подбодренный мамашей, вновь принялся изо всех сил стучать в дверь, тяжело дыша и издавая слабенькое, похожее на кошачье, рычание.

Занавеску на окне вновь отдернули, звякнула щеколда, и створки распахнулись. Из темноты горницы испуганными глазами неопределенного цвета смотрела на пришедших запахнутая в пестрый домашний халат русоволосая женщина. Опасаясь нападения, хозяйка не спешила высунуться на улицу и взирала на нарушителей ее спокойствия из глубины комнаты.

– А, вот ты где, морда! – стоявшая до этого на обочине дороги полная пожилая женщина бросилась к окну, нещадно дергая при каждом шаге мальчонку лет шести, которого она мертвой хваткой держала за руку. – Это сколько ж я бегать-то за тобой могу, бессовестная? Ты что ж это, думала, что мы не сыщем тебя? Забирай своего ублюдка, морда, и сама набивай его прожорливое брюхо!

Последним мощным рывком старуха поддернула ребенка к окну, едва не ударив его о стену домишки, и отпустила. Худенький, почти тощий парнишка, с обликом которого никак не сочетались слова «прожорливое брюхо», молчал и не сопротивлялся. Он просто стоял там, где его оставили, и ждал. Тряпье, в которое он был одет, не могло защитить его тельце от октябрьского холода, а надетые на босу ногу старые дырявые башмаки насквозь промокли в придорожных лужах, по которым его тащила бабка, и чавкали при каждом шаге. Огромная лохматая шапка давно не мытых каштановых волос оттеняла бледность и худобу его лица, да и вообще был он какой-то несуразный: сутулый, дерганный и затравленный; ступни он ставил носками внутрь, а непропорционально длинным рукам не мог найти места. Должно быть, именно такое создание попало на глаза Хансу Андерсену, перед тем как он создал историю о гадком утенке.

Избежав удара о стену, мальчишка замер в шаге от окна и опустил глаза: он не хотел смотреть ни на женщину в пестром халате, ни на беснующуюся за его спиной бабку. Та же тем временем не успокаивалась:

– Ну, чего ж ты не берешь своего ублюдка? Не лобызаешь, не прижимаешь к сердцу? Что, не к чему прижимать? Думаешь, сбагрила его старой дуре и умыла руки? Не выйдет, шалава! Сынок, да перестань ты уже долбить в эту дверь!

Маленький мужик, казалось, только теперь заметил, что мамаша уже вовсю беседует с хозяйкой и его беспрестанный долбеж мешает ей. Он прекратил стучать и отошел в тень, не желая вмешиваться.

Между тем хозяйка домишка подошла к окну вплотную и облокотилась, нагнувшись, на подоконник. В тот же миг позади нее что-то загремело и забурчало, и она, не оборачиваясь, резко ткнула туда локтем.

– Да погоди ты! – бросила она через плечо. – Тебе лишь бы прирастаться!

То, что бурчало и желало «пристраститься», отвалило. Женщина чуть прищурила глаза и смерила старуху, снова занявшую свой пост у обочины, насмешливым взглядом:

– Во-первых, не ублюдок, а ребенок, рожденный в законном браке, и тебе это известно, старая квашня! Во-вторых, я никому не позволю являться ко мне в дом и говорить со мной в таком тоне, так что заткни свою беззубую пасть! А в-третьих, если твой недоносок не сойдет сейчас с моего крыльца, то выйдет Барри и размажет уродца о стену. Тебе ясно?

Тут женщина передернулась, и последовал еще один тычок локтем назад.

– Барри, твою мать! – прошипела она, на этот раз обернувшись к атакующему. – Что на тебя нашло?

Бабка ухмыльнулась, по достоинству оценив сцену.

– О! Позорище! Пьянство и разврат, ничего больше! Правильно тебя отец из дома выгнал, шалаву! – и безо всякой паузы добавила: – Ты мне за полгода денег должна за своего звереныша! У меня не богадельня!

Но Перпетуя тоже умела скалиться и одарила бывшую жену сродного деверя ее матери самой издевательской из своих гримас.

– Может, тебе еще рыло вареньем намазать, старая? Мне прекрасно известно, как ты обращалась с ребенком, и впору жаловаться в полицию, а не деньги тебе платить! Убирайся отсюда вместе со своим сынком и не показывайся мне больше на глаза, не то мы с Барри осерчаем!

Бабка чуть не задохнулась от такой наглости. После всего, что она сделала для этого выродка, на нее еще и жаловаться будут?! Ей еще и на дверь указывать станут?! Утерев с жирного лица внезапно выступивший пот, она набрала было воздуха в грудь, чтобы покрыть распоясавшуюся сучку последними словами, но вдруг передумала, обмякла и сказала устало:

– Так забираешь пацаненка или полицию звать?

Окошко захлопнулось, и через минуту защелкали запоры входной двери. На крыльцо вышла, запахиваясь в халат и поеживаясь от холода, Перпетуя. За ее спиной мелькала лохматая башка подвыпившего Барри, который громко пыхтел и беспрестанно швыркал своим красным, пористым носом, стараясь набрать субстанции для полноценного харчка.

– Фу, Барри, не дыши на меня! – цыкнула на него сожительница и, вздохнув, повернулась ко все еще стоявшему у окна ребенку: – Привет, Вилли!

Мальчик чуть заметно кивнул, но ничего не сказал.

– Ты что, язык проглотил?

Снова молчание.

– Ну-ну... И вот так-то воспитала тебя старуха? Небось совсем никаких манер не привила?

Бабка на обочине громко фыркнула. Вилли Кай понурился еще больше и утер рукавом замызганной куртейки потекший вдруг от холода нос.

– Да-а, – протянула Перпетуя. – Вижу. Ну что ж, заходи, коль так... Будем из тебя человека делать!

Посторонившись, она пропустила мимо себя оробевшего мальчугана и привычно шлепнула по руке пытавшегося потрогать ее за задницу Барри.

– Где его вещи? – обратилась она к бабке.

– Чего?! Еще и вещи тебе подавай? Не многого ли ты хочешь? Когда отдашь деньги, бессовестная?

Но Перпетуя лишь махнула рукой, давая понять, что разговор окончен, вошла следом за сыном и сожителем в домишко и захлопнула дверь. Бабка чертыхнулась, но без злости: видимо, она и не рассчитывала на какую-то компенсацию. Повернулась к сыну:

– Пойдем отсюда, сынок! Хоть от выродка избавились, уже немало...

В этот день для Вилли началась новая жизнь. Его окружали теперь другие люди, он спал в другой постели и носил другие обноски, но был все так же несчастлив. Раздраженная внезапным появлением сына мать сразу же взялась за его «перевоспитание», заключавшееся, разумеется, в системе глупых требований и суровых наказаний за их невыполнение. Тонкий, режущий кожу ремешок бабки она заменила настоящими розгами – вымоченными в воде ивовыми прутьями, которых она заготовила целую связку. Розги эти лежали и висели по всему дому и даже в отсутствие матери являлись молчаливым напоминанием о ее суровом нраве. Перпетуя принадлежала теперь, по сути, к низшей прослойке общества, а люди эти, как известно, озлоблены на весь мир за свои неудачи и, чувствуя свою никчемность, измываются над теми, кто «под рукой».

Бывают семьи, где царят мир, любовь, взаимное уважение и поддержка, а бывает и наоборот: вся жизнь семьи проникнута ложью, лицемерием, глупой рисовкой перед соседями и ничем не оправданной жестокостью, именуемой воспитанием или, что еще хуже, привитием хороших манер. Детей в таких семьях с малых лет заставляют врать всем и вся, фальшивить и жить двойной-тройной жизнью, их учат, что надо «сказать тете Кларе, чтобы она не думала, что мы хуже их», или «приосаниться и не горбиться, а то люди подумают, что я тебя плохо воспитываю». Ни в школе, ни на улице дети эти не смеют рассказать правду – «не то я с тебя три шкуры спущу», а за случайно разлитый стакан воды слышат: «Ну, держись теперь, гаденьш!» Во главе такого семейства всегда стоит истеричная мамаша, в угоду которой все должны соблюдать установленные ею правила. На самом деле ее мало интересует, каким вырастет ее ребенок, – когда к совершеннолетнему возрасту он превратится в невротика, то будет просто забыт. Дети для нее становятся просто еще одним инструментом для достижения ее самоудовлетворения, как косметика, новое платье или щеголеватый любовник, из которых ее жизнь, как правило, и состоит.

К несчастью, Вилли произвела на свет именно такая мать. Если бы читатель нашел время и послушал украдкой под окном задрипанного домишки, о чем там говорят, то мог бы услышать примерно следующее:

«По башке я тебя бить не буду, и без того идиот, но по жопе-то розгой пройду! Пройдусь, сказала, чтобы неповадно было! Жопы, она все стерпит!»

«Какого хрена ты здесь расселся? Тебе заняться больше нечем, выродок? У-у-у, рыло твое сопливое!»

«Барри, ты только посмотри на этого придурка! Всего неделя, как получил чистую рубашку, а уже пятно на рукаве! Ну ничего, я это свинство из него выбью!»

«Я вообще не понимаю, Барри, почему ты не занимаешься воспитанием этого маленького уродца? Врезал бы ему раз-другой хорошенько, вмиг бы он тебя зауважал!»

После таких слов, как правило, слышался визг розги, рассекающей воздух. Поначалу визгу этому вторил тоненький детский плач, но со временем Вилли оставил привычку скулить и лишь кусал в кровь губы, когда становилось совсем уж невмоготу. К слову сказать, Барри не принимал участия в воспитании «уродца» не из жалости или каких-то там моральных устоев, а из-за лени. Да-да, безработный пропойца попросту ленился взять в руки розгу, да и был частенько так пьян, что плохо соображал. Те же редкие минуты, когда был вменяем, он с большей охотой тратил на бесстыжие сексуальные действия в отношении сожительницы, нимало не стесняясь присутствия ребенка. Да и стоит ли обращать внимание на такие мелочи, когда у него «зачесалось», как он любил повторять?

– Хочешь его потрогать, женушка? – говорил он обычно, подпуская в голос пьяной вкравивости.

– Перестань, Барри, сопляк видит!

– Да и хрен с ним, пусть видит! Ты ведь знаешь, что с похмелья у меня всегда чешется...

– О забор почести, Барри! Ну, Барри, что ты делаешь? Барри, я кому сказала? Я кому... Ох, Барри...

После этого Вилли обычно слушал, как скрипит старая панцирная койка в маленькой комнате и как пыхтит мамочкин сожитель. Длилось это, как правило, недолго: через две-три минуты пыхтение завершалось победным рыком, и Перпетуя могла вновь заняться своими делами. Например, выпивкой.

Таким было логическое завершение карьеры светской львицы.

В маленьком материнском домишке Вилли отвели каморку во втором этаже, смежную со спальней взрослых. Спальней этой, впрочем, мамаша и ее сожитель почти не пользовались: к вечеру Барри обычно так набирался, что был не в состоянии преодолеть двенадцать ступенек крутой лестницы и заваливался на топчан в кухне, оставленный еще предыдущими жильцами. Перпетуя, если не была так же пьяна, стягивала с его вонючих ног грязные изношенные ботинки и пристраивалась рядышком, изыскивая себе местечко то в изголовье сожителя, то под его благоухающей подмышкой. О том, чтобы оставить своего Барри внизу, а самой подняться наверх, она и думать не могла. В итоге ее спальня постепенно заполнилась всяким ненужным барахлом, начиная с грязного белья и заканчивая стеклянной тарой и банками из-под консервов. Во дворе, конечно, были мусорные баки, но и они были вечно переполнены, так что, когда кухонный стол заполнялся пустыми бутылками или ломился от объедков и прочего мусора, Барри набивал всем этим мешки и затаскивал их наверх, сваливая где попало. Таким образом, чтобы войти в свою комнату или выйти из нее, Вилли вынужден был пробираться сквозь завалы, начинающиеся уже в узком коридорчике, и наслаждаться доносящимся из бывшей материнской спальни «ароматом».

Со временем он привык к такой жизни. Перпетуя все реже бралась за розги – скорее от пресыщения, нежели из гуманности – и большей частью ограничивалась мокрым кухонным полотенцем да различной утварью наподобие поварешки или выбивалки для ковров (этот неизвестно откуда взявшийся предмет роскоши использовался исключительно для «воспитания» Вилли, поскольку никаких ковров в доме не было). Барри же и вовсе можно было не принимать в расчет – огромный, жирный и вечно находящийся в какой-нибудь стадии опьянения или похмелья, он был слишком неповоротлив и равнодушен, чтобы заниматься чьим-то там воспитанием. Он, конечно, нет-нет да и отвесит сопляку затрещину, от которой потом целый день голова гудит, но не со зла, а так... Нечего попадаться отчиму под руку!

Как и в доме у бабки, единственной отдушиной для мальчика оставались его сны. По-прежнему не мог он дожидаться ночи, чтобы, забравшись под свое старенькое рваное одеяло, с легким головокружением погрузиться в зеленую, вкусно пахнущую свежескошенной травой, лесом и грибами пелену. Он вновь оказывался на зеленой лужайке на берегу Фильса, играл со своими старыми друзьями – олененком Лу и пернатыми щебетуньями – и ловил в речке блестящую верткую рыбу. Правда, уже без папы. Как ни искал мальчик отца во сне, как ни звал его на берегу, Кристоф не появлялся. Наверное, ему стало неинтересно рыбачить с сыном и он ушел дальше... Еще дальше в пелену.

Подумав так, Вилли испугался. Что значит – еще дальше? Разве есть это «дальше»? Разве не ограничивается хрупкий мирок его сна берегом Фильса, лужайкой, кусочком грибного леса и несколькими пчелиными ульями на соседском поле? Разумеется, он мог бы пойти вдоль реки, побежать в глубь леса, переплыть Фильс или перейти поле и взглянуть, что делается в крошечной деревеньке на другом его краю, но... зачем?

На этот простой вопрос у него не было ответа. Разве плохо ему здесь, в тепле и спокойствии? И не ждет ли его там что-то такое, с чем лучше не сталкиваться?

«Да, но ведь туда ушел папа... Ведь ушел?»

«Откуда тебе знать, куда он ушел? В конце концов, это просто сон и не выдумывай глупостей!»

Побеседовав сам с собой таким образом, Вилли впервые в жизни проснулся со страхом в душе. Когда он бодрствовал, то просто не задумывался о таких вещах, но сейчас...

Он встал с постели и подошел к окну. Сыро, промозгло, дождливо. Дорогу развезло, а окрестные луга, поля и даже кромка леса за Фильсом кажутся тускло-серыми и безрадостными. Разумеется, добрые соседи уже не раз намекали ему, что отец его – бандит и его посадили в тюрьму, а кое-кто обмолвился даже, что папу в тюрьме этой убили, но Вилли не верил сплетням. Мало ли что люди болтают! Да и какой папа бандит, об одной руке? Бандиты – он видел как-то в бабкиной газете – всегда в масках, с ножами и автоматами, они грабят банки и убивают ни за что кассирш и охранников. А папа, разве он такой? Он – добрый и хороший, у него колючая щетина на подбородке и веселые глаза, которыми он всегда так ласково смотрел на Вилли...

Да, но почему он тогда не приходит к нему? Почему с ними живет этот противный Барри, а папа даже не появляется, чтобы повидать сына? Почему мать никогда не говорит о нем, а в ответ на все вопросы сразу начинает кричать? Неужели соседи не врут и у Вилли больше нет отца?

Многое было ему непонятно, и пройдут годы, пока мальчик во всем разберется.

– Эй, Вилли, чертов пацан, ступай-ка сюда!

Зная, что нельзя заставлять мать ждать, парнишка опрометью бросился вниз по лестнице и через пару секунд уже стоял навтыжку перед грозно взиравшей на него Перпетуей. Нечесаная, бледная, в грязном халате она сидела за кухонным столом, подперев подбородок двумя руками, отчего были хорошо видны ее неухоженные, частично обкусанные ногти. Взгляд у женщины был мутный, в ресницах застряли желтые крошки засохшего гноя – по всему было видно, что она только что проснулась. Одним локтем она попала прямо в лужицу разлитого вчера на столе капустного рассола, халат сполз с бедра, обнажив ногу и свободную от трусов задницу до самой поясицы, но Перпетуя не замечала этого, погрузившись в похмельные страдания.

– Ну, явился? Продрал шары? – приветствовала она сына.

Вилли поспешно кивнул:

– Продрал, мама.

Женщина захохотала и потрепала отпрыска по лохматой голове.

– Правильно отвечаешь, молодец!

От матери разлило чесноком и винным перегаром, от которого мальчишка чуть не задохнулся, но не посмел отшатнуться, чтобы не вызвать вспышку гнева алкоголички.

– А ты знаешь, какой сегодня день, Вилли?

Тот помотал головой. Откуда, мол, ему знать?

– Сегодня, сынок, твой день рождения и тебе исполнилось семь лет, представляешь?

Голос Перпетуи звучал пафосно и как-то неуместно-восторженно. Она смотрела на сына с гордостью, словно сумела сделать для него счастливым каждый день из этих семи лет и теперь радовалась этому. Видя перед собой это кривляющееся существо, Вилли вдруг с болью осознал, как мать опустила, и ему стало жаль ее.

Это было странное чувство – смесь жалости и брезгливости. С одной стороны, он не смог бы отказаться от нее (слишком много времени провел он у бабки за мечтами о возвращении домой, чтобы так быстро разочароваться), с другой же, при мысли, что мать может расчувствоваться, обнять его и осыпать поцелуями, Вилли становилось тошно. В уголках рта Перпетуи засохла желтоватая слюна, на подбородке багровела полусорванная короста старой ссадины, а запах... Моется ли она вообще?

Однако его опасения были напрасны: что-что, а уж целовать его Перпетуя была не расположена – ее занимала другая мысль.

– Семь лет, Вилли! А что это значит? – беззубо ослабилась женщина. – Ну?

О! Неужели мать приготовила ему подарок? А вдруг это новые ботинки или даже резиновые сапоги – такие же, как у соседских ребят? Тогда он сможет не бояться луж и ноги его всегда будут сухими! Между пальцами не появится больше грибок, и пропадет извечный насморк!

Мальчик заулыбался. Как только он мог забыть, что у него сегодня день рождения?

– Ты... ты подаришь мне что-то? – робко спросил он в надежде на нечаянное счастье.

– Хм... Вот, значит, как ты поворачиваешь?

Мать задумалась, и Вилли понял, что никакие подарки в ее планы не входили.

– Да, пожалуй, подарю! Точно! – встрепенулась вдруг Перпетуя. – А почему бы и нет?

Но только я про другое хотела сказать...

– Про что, мама?

– Тебе семь лет, и ты можешь один, без меня, ходить в магазин!

Парнишка не понял восторга матери по этому поводу. Что в этом такого? Или она радуется тому, что теперь он сможет вместо нее делать покупки? Вряд ли. Спиртного ему все равно не продадут, а ничего другого мать с Барри и не покупают... Что же тогда?

Он недоуменно посмотрел на родительницу, ожидая пояснений. Та почесала нос и прищелкнула языком.

– Ну, так вот. Сегодня ты отправишься в новый супермаркет – тот, что недавно открылся за полем, – и купишь себе в подарок конфету! Ну, и еще кое-что. Идет?

Она взглянула на сына с такой торжественностью, словно только что осчастливила его небывалым образом.

Конфету? И все? А как же резиновые сапоги, как у соседских ребят? А ботинки? Да и разве продадут в магазине одну конфету?

Нисколько не смущаясь написанным на лице сына разочарованием, мать продолжала:

– Сейчас я быстренько напишу тебе список покупок, и ты отправишься. Думаю, что магазин уже открылся.

Она поднялась со стула, запихнула подальше в халат свои дряблые груди и принялась рыться в ящиках буфета в поисках письменных принадлежностей. Наконец, отыскав огрызок карандаша и листок мятой бумаги, она добрых пять минут что-то царапала на нем, время от времени слюнявя кончик грифеля и задумываясь. Закончив, она повернулась к Вилли:

– На вот, возьми! Надеюсь, тебе все понятно?

– Я не умею читать, мама.

Перпетуя остолбенело уставилась на сына.

– Фу ты, черт, и правда... Ты ведь только пару недель ходишь в школу, да? Что же теперь делать?

Она казалась очень расстроенной. Пожевав нижнюю губу в минутном раздумье, она произнесла:

– Думаю, что ты не дурак и в состоянии заучить список наизусть. Он небольшой. Ну?

Вилли пожал плечами:

– Я попробую, мама.

– Отлично! Тогда слушай. Так... Первый список...

– Их что, несколько? – испугался парнишка, который совсем не был уверен в том, что ничего не забудет и не накликает тем самым материнский гнев на свою голову.

– Не перебивай! Я просто разделила список на два, чтобы тебе было удобней. Итак, запоминай! Сетка лука... сетка картофеля... плитка шоколада для меня... ну, и кусок сала для Барри. Того, с толстыми прожилками. Это все ты положишь в тележку и оплатишь на кассе, – она сунула в руку сына мятую банкноту в пять марок. – Так, идем дальше... Две бутылки крас-

ного испанского вина – оно покрепче будет, бутылку шнапса Doppelkorn для моего Барри, две пачки «Marlboro»... нет, лучше три... и... да чего там! Возьмешь три бутылки вина! Ну, вот, в общем-то, и все пока. Тебе все ясно?

Вилли ошалело смотрел на мать. Она, должно быть, спятила! Кто же отпустит ему в магазине все это?

Не решаясь на громкий протест, он промямлил:

– Но, мама, ты ведь знаешь, что мне не продадут спиртное...

Перпетуя театрально фыркнула.

– Разумеется, не продадут, болван! Но кто тебе велит его *покупать*? Возьмешь большую хозяйственную сумку, бросишь ее в тележку и спрячешь под ней бутылки и сигареты, что тут неясного? Никто тебя особо проверять не станет, ведь ты же, в конце концов, заплатишь за лук и картошку! Да и вид у тебя... как бы это сказать... больно бестолковый, чтобы можно было что-нибудь заподозрить. Ну, чего встал, как истукан? Отправляйся!

– А если... если меня поймают? – все еще не теряя надежды Вилли.

– Будешь все правильно делать, не поймают! Главное, рожу состряпай поуверенней, а не суетись, как вор! Впрочем, даже если поймают, что с тебя взять? Разрыдаешься, покаешься, и дело с концом! Ну, бери сумку и ступай, не задерживай!

Перпетуя отвернулась от сына и принялась расчесывать свои спутанные с ночи волосы, давая понять, что разговор окончен.

– Мама!

– Ну, что тебе еще? – недовольным голосом отозвалась женщина.

– А моя конфета? – Вилли просто тянул время, не вполне еще справившись с неожиданным потрясением.

– Какая еще конфета? Ах, да... Ну, конфет набери себе сколько хочешь, но тоже под сумку, денег на них нет. Да особо-то, смотри, не старайся, а то из-за твоих дурацких конфет мы с Барри лишимся выпивки! Понял?

– Угу.

– Удачи!

Понурился головой, именинник подался к выходу, сжимая в левой руке мятую купюру, а в правой – большую полотняную хозяйственную сумку, предмет маскировки. Уже будучи у самой двери, он услышал последнее напутствие матушки:

– Эй! Ты смотри, если попадешься, не вздумай сваливать вину на меня! Зашибу!

Новый, совсем недавно построенный супермаркет – невиданное до сих пор в этих краях чудо, – находился примерно в полутора километрах от дома, на краю городка. Через большие окна уже издали были видны выставленные на полках и стеллажах разноцветные бутылки, упаковки и банки; яркий свет заливал помещение, а меж рядов сновали облаченные в синюю униформу служащие. Припаркованные автомобили не занимали и четвертой части площадки перед входом, а у самой двери, оклеенной рекламными плакатами, ждали клиентов два ряда блестящих металлических тележек для покупок.

Уже собираясь переступить порог магазина, Вилли, всю дорогу терзавшийся пакостностью возложенной на него миссии, вконец перетрусил и решил было отказаться от задуманного, но, вспомнив бесчувственный взгляд и тяжелую руку мегеры-матери, вздохнул и крепче стиснул ручку тележки. С трудом толкая перед собой эту громоздкую стальную конструкцию, он вошел в магазин.

Всею душой ненавидел Вилли и этот светлый, пестрящий этикетками зал, и приветливых продавщиц, и самого себя за слабование. Он подумал о матери, о Барри, затем о бабке с ее сыном, невесткой и внуками и понял, что ненавидит и их тоже. Лишь об отце да друзьях из его странных снов думал он с теплотой. Но где они? Почему бросили его на произвол судьбы?

Почему допустили, чтобы в руках его оказалась эта проклятая закупочная телега, а в голове – заученный наизусть немудреный список, состоящий из двух частей?

Вилли огляделся в поисках полицейских, но не нашел их. В глубине души он страстно желал, чтобы магазин наполнился людьми в форме, контролирующими каждого покупателя и каждую тележку – это позволило бы ему отказаться от воровского мероприятия и доложить матери, что сегодня это, мол, невозможно, так как мир полнится «легалыми». Однако ни одного человека в форме он среди покупателей не заметил и, обреченно толкнув дребезжащее железо, отправился воровать.

Это был первый поход Вилли в магазин: мать не считала нужным брать его с собой за покупками, так как дети всегда что-нибудь клянчат, и ей было бы неловко перед людьми (тот факт, что ее трижды ловили на краже с прилавка, штрафовали и чуть было не упекли в тюрьму, никакой неловкости для Перпетуи не представлял).

Сначала у Вилли разбежались глаза от обилия товаров, но он быстро разобрался, что к чему. Супермаркет оказался довольно простой штукой – нужно было лишь внимательно смотреть на полки, чтобы не пропустить то, что тебе нужно, да фантазировать, будто умеешь читать. Покупателей в этот час было немного, но воришка-дебютант все равно старался делать умное лицо и не мельтешить, чтобы не навлечь на себя подозрений. Он быстро отыскал картошку и лук (они были навалены горой перед самым входом), бросил в тележку шмат сала и плитку шоколада, которого ему еще никогда не доводилось пробовать, и, вздохнув, двинул железную корзину на колесах в проход между рядами бутылок.

Холодный пот выступил у него на лбу при мысли, что сейчас он должен протянуть руку и сунуть под расправленную на дне телеги полотняную сумку три большие бордовые бутылки вина. В этот момент парнишка был совершенно уверен в том, что провалит задание и сам провалится сквозь землю от стыда. Не могут же они тут быть такими идиотами, чтобы не заглянуть под подозрительно топорщащуюся сумку? Как в тумане потянул Вилли за горлышко первую бутылку испанского красного. Бутылка была прохладной на ощупь и довольно увесистой, белорозовая этикетка с надписью «Terra alta» бросилась ему в глаза и запомнилась на всю жизнь. Осторожно опустив вино на дно тележки, он потянулся за второй бутылкой, а затем и за третьей. Когда бутылки лежали рядком под сумкой, мальчик вспомнил, что должен еще отыскать шнапс для Барри, и огляделся. Doppelkopf нашелся тремя метрами дальше, на том же самом стеллаже, и он сунул невзрачную граненую бутылку к ее приятельницам. Все?

Нет, не все. Еще сигареты. Добрых десять минут потратил Вилли на изучение магазинных полок, но табачных изделий так и не нашел. Что ж, он так и скажет матери. Она, конечно, разозлится, но тут уж ничего не поделаешь – придется ей довольствоваться вином и шоколадом. Скрепя сердце Вилли отправился к кассе.

Стоявшая впереди него старушка долго расплачивалась за свои дрожжи да макароны, выуживая из видавшего виды кошелька монетку за монеткой. Казалось, что она никогда не наскребет необходимой суммы и будет стоять здесь целую вечность!

– Сигареты не нужны? – неизвестно зачем поинтересовалась у старухи женщина в синей униформе и кивнула на уложенные штабелем у самой кассы разноцветные пачки.

Покупательница недоуменно воззрилась на кассиршу, а Вилли вздрогнул – ему стало ясно, что отделаться от кражи сигарет не удастся. Однако было бы безумием пытаться стащить даже одну пачку (куда уж там три!) прямо на виду у продавщицы!

Но в этот момент кассирша, рассчитав наконец старуху, вдруг полезла под прилавок и начала громко шурудить там чем-то. Словно со стороны наблюдал Вилли, как его собственная рука потянулась к полке с сигаретами и одну за другой отправила в карман две пачки Winston. Третью пачку рука взять не успела, потому что женщина внезапно вынырнула из-под стола, поправляя сбившуюся прическу, и, лучезарно улыбаясь, обратилась к Вилли:

– Ну, мальчик, что же ты? Подходи уже, не задерживай!

На негнущихся ногах воришка сделал несколько шагов к кассе, словно шел на Голгофу. Сейчас тетка проверит его тележку, и все кончится. Полиция... Тюрьма.

– Что у тебя?

– К-картошка вот, сало, лук и... и все.

Кассирша перегнулась через прилавок и заглянула в тележку.

– Да нет, не все! – улыбнулась она.

«Вот оно! Конец!» – мелькнула ужасная мысль.

– А про шоколадку ты забыл, сладстена? Давай, давай ее сюда! Я посчитаю!

Онемевшими от напряжения пальцами он протянул кассирше сладкую плитку.

– Теперь все у тебя?

– Д-да...

– А под сумкой ничего не прячешь? – продавщица озорно подмигнула Вилли, у которого едва не подогнулись колени. В животе тягуче заныло, а глаза в мгновение ока залил пот. Скрываться дальше не имело смысла.

– Прячу, тетенька...

– Что же? – голос кассирши по-прежнему звучал весело.

– Вино и шнапс.

Игриво настроенная женщина расхохоталась:

– Так ты шутник? Подумать только – вино и шнапс! Ну, давай, проходи уже, у меня покупатель!

За спиной Вилли и впрямь кто-то вежливо кашлянул. Ничего не понимая, мальчик толкнул тележку и, ошарашенный, вышел из супермаркета.

Со странными чувствами шел он домой, волоча тяжелую сумку с воровской добычей. С одной стороны, он почувствовал огромное облегчение, когда наивная тетка-продавщица не удосужилась как следует проверить его тележку, с другой же – его мучила и терзала совесть, буквально обгладывая, словно голодный пес брошенную ему кость. Мечтатель, тихий, незаметный маленький отшельник никогда раньше и подумать бы не мог, что ему придется сделать то, что он сегодня сделал. Никто не учил его морали и закону и не запугивал наказанием, но есть люди, которым и не нужны никакие уроки и угрозы для того, чтобы быть порядочными, – они интуитивно чувствуют границы дозволенного и живут в обнимку с совестью. Таким был, наверное, и маленький Вилли Кай, унаследовавший эти качества от его несчастливого отца, сгоревшего в топке человеческой подлости.

Внутренне корчась от стыда, Вилли пообещал себе дорогой, что никогда больше не послушается матери и не повторит сегодняшнего отвратительного поступка. Он болезненно поморщился, когда представил себе, что об этом может узнать его школьная учительница, да и товарищи по классу. Пусть он и не был особенно общительным или популярным, но никому и в голову не пришло бы назвать его трусом, отребьем или – упаси бог! – вором.

– Почему только две пачки сигарет? – оторвала мать глаза от сумки. – Я же велела тебе принести три!

– Больше не получилось, мама. Тетка смотрела на меня.

– Тетка! – передразнила Перпетуя, кривляясь, однако на блеклом лице ее сияло довольство. Она уже замахнула стакан вина и в предвкушении следующего веселилась.

– Ты ведь прекрасно знаешь, что Барри выкурит обе пачки и мамочке ничего не останется!

Откуда ему было это знать? Да и что бы это изменило, когда кассирша и вправду на него смотрела!

Вилли пожал плечами и ничего не ответил.

– Ну ладно, в следующий раз исправишься. А пока я отсыплю себе чуть-чуть...

Ковырнув ногтем торец сигаретной пачки, она раскрыла ее и, стукнув несколько раз о большой палец левой руки, выбила добрую половину сигарет, которые тут же припрятала в буфете. Одну из них, впрочем, она успела сунуть себе в рот и теперь чиркала спичкой о стертый бок коробка.

– Я это, мама... не пойду больше воровать, – выдавил из себя Вилли и тут же испугался собственной смелости.

– Что? – забыв про спички, Перпетуя удивленно взглянула на сына. – Разве помощь матери теперь называется воровством?

От такой постановки вопроса Вилли смутился, но все же ответил:

– Да, это воровство, и я не стану больше этим заниматься. К тому же я чуть было не попался.

Мать прищурила глаза и сжала губы, отчего лицо ее стало еще более неприятным.

– Потому что дурак, – процедила она. – Осторожней надо быть, тогда и проблем не будет!

Помолчав немного, она добавила:

– Что ж, не ходи. Сиди дома и жри на халяву, дармоед несчастный! Но я тогда пойду в твою чертову школу и скажу этой фифе-училке, что ты – воришка и таскаешь из дома деньги, а из магазина – конфеты. Они там живо найдут на тебя управу!

– Но ведь это неправда! – из глаз ребенка брызнули слезы. – Ведь это ты меня заставила!

– Я?! – возмутилась Перпетуя совершенно искренне. – Боже упаси! Разве это во мне течет бандитская кровь твоего папаши? Нет, мой дорогой сынок, эта поганая кровь течет в твоих синих жилах! И это всем известно!

– Но папа не такой! – выкрикнул в порыве внезапно захлестнувшего его гнева мальчик. В эту минуту ему было гораздо больше за оклеветанного отца, чем за себя, и он даже непроизвольно сжал кулаки, словно готов был броситься на мать. От той не укрылись его эмоции.

– Ты только посмотри на него, Барри! – крикнула она в глубину дома. – Звереныш – точная копия своего папаши! Такой же дикий и неотесанный. А тот, между прочим, даже в тюрьме не смог вести себя по-человечески и вынудил сокамерников его прикончить! Так что, Вилли, не раздражай мамочку и будь послушным, ясно?

От отчаяния и обиды у Вилли застрял в горле ком, да такой, что ни дышать, ни глотать не позволял. Он, конечно, видел, какой образ жизни ведет его мать, и знал, что уважением в городке она не пользуется, но все же не ожидал от нее такой подлости. Что ж это за жизнь у него такая? Сначала бабка-мучительница, а теперь родная мать? Неужели, кроме зеленой лужайки из его снов, нет на свете места, где он мог бы чувствовать себя хорошо и спокойно?

– Думаю, ты образумился, – услышал он довольный, почти мурлыкающий голос матери, опорожнившей второй стакан вина и затянувшейся вонючим табачным дымом. – Кстати, ты взял себе конфету в магазине?

Она неприятно рассмеялась, а у Вилли внезапно пропал весь пыл, и он снова съежился. Разумеется, ни про какие конфеты он в магазине и не вспомнил, как и про то, что у него сегодня день рождения.

– Нет, не взял, – всхлипнул он.

– Не расстраивайся так по пустякам, малыш. Завтра пойдешь опять на охоту и не забудешь про лакомства. В конце концов, что тебе терять? Как ни крути, а ты теперь малолетний преступник!

Попался Вилли уже на четвертый день – глупо, но вполне закономерно. Посылай его алчная мать «на дело» не ежедневно, а, скажем, раз в неделю, то оно, может, и продлилось бы дольше, но Перпетуя, познав вкус дармового вина, уже не могла угомониться. С самого утра ее потрепанный домишко оглашали зычные призывы хозяйки, обращенные к сыну:

– Эй, лежебока! А ну, поднимайся! Все бы тебе рожу в подушку давить! А о мамочке кто позаботится?

Шли каникулы, и школьникам, не занятым работой в крестьянских подворьях, позволялось поспать подольше, но Вилли к их числу не относился. Ему нужно было брать сумку, пару грошей «для отмазки» и отправляться в супермаркет «заботиться о мамочке» и ее прожорливом сожителе.

Было бы в городке несколько больших магазинов, он мог бы посещать их поочередно и таким образом избежать излишнего внимания, но в середине пятидесятых годов двадцатого столетия небольшие городки западной Германии не могли похвастаться большим количеством торговых центров, время которых тогда только начиналось, зато наполнились крошечными лавочками, торгующими «всем помаленьку». За прилавком в таких магазинчиках, именуемых в народе лавкой тети Эммы, часто стоял сам хозяин или его жена, все было на виду, и ни о каком тихом воровстве не могло быть и речи. Потому-то Вилли и зачастил в единственный супермаркет Фильсхофена.

Вторая и третья кражи прошли успешно. Продавщицы менялись, народу в магазине было немного, и никто не обращал внимания на невзрачного мальчонку, неизменно покупавшего самый маленький пакет картошки да пучок сельдерея. Покупок было, правда, маловато для той огромной полотняной сумки, что всегда лежала на дне его тележки, но суетливых служащих это не интересовало – не все ли равно, кто с чем ходит за покупками? Подойдя к кассе, мальчик долгим изучающим взглядом осматривал стеллаж с жевательной резинкой и леденцами, делая вид, что мучится выбором. В конце концов кассирше надоело ждать, и она, бросив юному покупателю: «Позовешь, как закончишь!», удалялась в подсобное помещение двигать коробки или пудриться. Тогда мальчишка, быстро оглядевшись, совал в карманы две-три пачки сигарет Haus Bergmann или Marlboro и тут же кричал:

– Тетенька, можно мне заплатить?

– Надо же, не убежал с леденцом! – умилялась продавщица и вознаграждала честного мальчика дешевой карамелью на палочке.

Дома мать или Барри выхватывали у Вилли из рук сумку и, милостиво разрешив ему «пойти поиграть», тут же принимались за откупоривание вожделенных бутылок с прозрачной и красной жидкостью. Крошечный домишко наполнялся свежим табачным дымом, проникающим во все щели, и Вилли распахивал окно в своей каморке, чтобы не щипало глаза. «Пойти поиграть» он, разумеется, не мог, так как не имел ни игрушек, ни друзей, и дни его проходили скучно и уныло, полные однотипных мечтаний да бесед с самим собой.

«Ну, что мы сегодня будем делать, друг мой?»

«Будем отдыхать, у нас ведь каникулы!»

«А не прогуляться ли нам к Фильсу, Вилли? Посмотрим на рыбаков...»

«Нет, Вилли, не пойдем – сапог нет, а там сегодня сыро. Опять схватим насморк».

«А может, повторим уроки к школе?»

«Чего там повторять? Одно и то же! Должно быть, учителя держат нас с тобой за слабыми, Вилли!»

«Ну, или порисуем, пальцы потренируем?»

«Чернил нет».

«А чего ж мы не украли пузырек, когда были в магазине?»

«Дурак ты, Вилли! Разве до того нам с тобой было? Нужно о мамочке заботиться!»

Но на четвертый день все было иначе. Таскаясь с тележкой меж магазинных рядов, наш юный вор чувствовал себя особенно неуютно. Он не мог понять, в чем дело, – то ли в дурацком его настроении, то ли в пожилой женщине, что так же сосредоточенно оглядывала выставленный на полках товар, почему-то всегда оказываясь в том же самом ряду, что и он. В корзине

женщины (она ходила именно с корзиной, а не с тележкой) лежали пучок редиски да пачка дрожжей, и наполнять ее престарелая дама, похоже, не собиралась.

«Наверное, из какой-то совсем маленькой лесной деревеньки, – подумалось Вилли. – У них ведь там совсем никаких развлечений нет, вот она и растягивает удовольствие, а дома будет описывать каждую мелочь...»

Он отвлекся от пожилой особы и занялся своим делом.

Рассчитавшись на кассе за краюху хлеба и кусок хозяйственного мыла, он уже толкнул было тележку к выходу, когда услышал скрипучий, как несмазанная дверь, и донельзя противный голос за спиной:

– Лизи, девочка! Да ведь это сынок той алкоголички – дочки старого Карла, которую уже трижды ловили на воровстве! Что-то давненько ее не было видно, так что ты проверь-ка, милая, получше его покупки! Да под сумку загляни! Ручаюсь, там что-то есть!

Вилли замер, как громом пораженный. Кровь ударила ему в лицо, пальцы свело судорогой, а ноги ослабли и подкосились. Вот и конец, и никакие счастливые обстоятельства его уже не спасут!

Кассирша по имени Лизи растерянно взглянула на пожилую женщину:

– Думаете, тетя Марта?

– Тут и думать нечего! – отрезала та. – Подними-ка свою сумку, малыш!

Видя, что Вилли стоит, как парализованный, она сама доковыляла до его тележки и рывком выбросила из нее полотняную сумку, обнажив уложенные рядом три бутылки красного вина, бутылку шнапса и пузырек с чернилами, который мальчик все же решил сегодня взять.

– Ну, что я говорила? – торжествуя воскликнула она и ткнула своим кривым, мелко дрожащим указательным пальцем Вилли в грудь. – У них все семейство – воры да пьяницы! Сколько же тебе лет, гаденыш, что ты уже так спиртное лакаешь? Или это для мамыши и ее собутыльников?

Пойманный с поличным воришка стоял, белый как полотно, перед грозной изобличительницей, не в силах вымолвить ни слова. А тетя Марта все не могла остановиться:

– А дед-то твой, Карл, такой уважаемый человек! Какой позор ему через вас! Да-а, недаром он отказал от дома твоей потаскухе-матери! Ну, что ты стоишь, как истукан, Лизи? Вызывай полицию да сдавай вора!

Лизи бросилась исполнять приказание, тетка же вызвалась «приглядеть, чтобы не бежал».

Однако Вилли и не думал бежать. Он понуро стоял рядом с тележкой в ожидании своей участи; все происходящее казалось ему нереальным. Неужели все это случилось с ним? Неужто же этот рассказ, эта несчастливая повесть – про него? Что теперь будет? Что скажут в школе? Теперь его наверняка исключат и отправят в детскую тюрьму! А куда же еще отправлять таких, как он?

Глава 7

Вилли становится изгоем и предается буйству во сне, Перпетуя получает увечья, а Барри избавляется от пасынка

В кабинете комиссара полиции на вышарканном тысячами задниц кожаном стуле восседала всхлипывающая Перпетуя. На деревянной скамейке в углу комнаты притулился съежившийся, испуганный Вилли, а за выдавшим виды столом сидел и молча писал что-то угрюмый служитель закона. В кабинете было душно, и он время от времени вытирал платком свою массивную шею и бронзового оттенка лицо. Под потолком жужжала ленивая муха, где-то скрипели половицы: одним словом – учреждение.

Перпетуя испустила очередной тяжкий вздох.

– Понимаешь, Гарри, я и подумать не могла, что из него вырастет такое... – она бросила сердитый взгляд на сына. – Но, как говорится, яблочко от...

– Вот именно! – рявкнул комиссар и, отбросив перо, откинулся на спинку стула. – От яблони! И если ты, проходимка, не заткнешься, я упеку тебя вместе с твоим чертовым сожителем на долгие годы!

– За что же, Гарри? – в голосе женщины проскользнула нотка ехидства. – За то, что сынок твоего дружка-насильника оказался воришкой и малолетним пьяницей? За то, что мне, несчастной матери-одиночке, не удалось вложить в его тупую голову хоть сколько-нибудь благоразумия и честности? Ты отлично знаешь, Гарри, что ребенок воспитывался черт знает где, а у меня он лишь несколько месяцев...

От столь вопиющей наглости у комиссара, что называется, в зобу дыханье сперло. Эта шалава, эта гнусь, сведшая в могилу Кристофа Кая и превратившая его сына в затравленного волчонка, смеет насмехаться над ним, искажая факты?

Комиссару была прекрасно известна вся предыстория: ведь это именно он так страдал от собственной беспомощности после ареста Кристофа и готов был лишиться правой руки, если бы это помогло спасти невинного от клеветницы. Но спасти не удалось – тогда. Однако сейчас он не позволит этой змее свалить вину на ребенка и выйти сухой из воды!

– Я отлично знаю, Перпетуя, что это именно ты послала мальчонку воровать! Да ведь по нему видно, что он и капли спиртного в своей жизни не выпил и к сигарете не присасывался!

– Да что тебе видно, полицейский?! – взвилась вдруг внезапно осмелевшая Перпетуя. – Откуда ты, зашоренный служака, можешь знать, что происходит в чужой семье? С чего это ты взял, что мальчишка – ангел? Да известно ли тебе, сколько раз мы с Барри заставляли этого херувимчика за выпивкой?

Комиссар не стал слушать дальше. Он вскочил с места и, двумя шагами покрыв весь кабинет, ухватил ненавистную лгуню за шиворот и рывком оторвал от стула. Повернув ее лицом к висевшему на стене мутному зеркалу, он прорычал:

– Смотри сюда, гадина! Смотри! Что ты видишь? Что, я спрашиваю, ты видишь?!

– Н-не знаю... Лицо... – промямлила женщина, у которой вмиг прошел весь запал.

– Лицо?! Нет, Перпетуя, это не лицо! Это – пропитая, потасканная рожа старой алкоголички и воровки! Да, да! Или ты думаешь, что я не знаю о твоих похождениях? Не знаю, как ты трижды – трижды! – вымаливала прощения у торговцев, поймавших тебя за руку? Может быть, ты полагаешь, что можно быть одной из самых замызганных потаскух города, а полиция не узнает об этом? Ошибаешься, Перпетуя!

Он бросил женщину назад на стул, словно куль с отходами, с отвращением отер о штаны руку, которой держал ее за шиворот, и, тяжело дыша, вернулся на свое место.

– А что это вы, собственно, фамильярничаете, господин комиссар полиции? – проквкала «одна из самых замызганных потаскух города» в попытке справиться с унижением. – Какая я вам Перпетуя? Извольте говорить мне «фрау Кай»!

– Фрау Кай?! – вскинулся полицейский, но тут же взял себя в руки и пробурчал: – Довольно интересно, между прочим, что тебе не понравилось обращение по имени. Против «гадины» и «шалавы» ты не возражала!

Наблюдавший всю эту безобразную сцену Вилли почти не слушал, что мать и комиссар говорили друг другу. В голове его билось, стучало и пульсировало одно лишь слово – насильник. Мама назвала отца насильником, но почему? Да и что это, собственно, такое? В бабкинском доме он не раз слышал это слово, и оно всегда произносилось с гримасой отвращения и ненавистью, так почему же мать говорит такое об отце?!

Мысли смешались в голове Вилли. Нужно постараться выяснить все прямо здесь, и плевать на детскую тюрьму!

– Дядя комиссар... – подал он голос из своего угла. – Можно я спрошу?

Полицейский поднял на него глаза, и во взгляде его мелькнула жалость, как тогда, при разговоре с Кристофом.

– Конечно, сынок! Спрашивай что хочешь! – Гарри постарался вложить в голос как можно больше теплоты. Что сделала с ребенком эта крыса!

– Скажите, а я тоже... насильник? – последнее слово мальчонка буквально прокричал, прежде чем уронить голову в ладошки и заплакать.

Брови комиссара взметнулись.

– Что за глупости, малыш! С чего это ты решил?

Всхлипывая и не поднимая головы, Вилли промычал:

– Мама говорила мне, что меня посадят в тюрьму, потому как я копия своего отца. А сегодня она сказала, что он – ваш дружок-насильник. Так выходит, что и я тоже?

Он отнял ладони от лица и в упор посмотрел на комиссара, требуя разъяснений. Красные заплаканные глаза ребенка внимательно следили за мимикой и жестами полицейского, опасаясь извечной взрослой неискренности. Но комиссар и не думал лукавить:

– Вот что, парнишка, ты мне это брось! Насильник – это тот... – он помялся, а потом ляпнул: – Это тот, кто теток мурьжит без их согласия, силой их берет, понял? А ты – просто магазинный воришка, который к тому же действовал по наущению или даже приказу матери-пропойцы! И мы докажем, что ты не виноват, не сомневайся!

От хохота Перпетуи, казалось, рассыплется стекла в окнах полицейского участка. Она так смеялась, что даже начала икать.

– Ну, насмешил ты меня, Гарри! «Мурьжит теток»! Сам-то ты давно кого-нибудь мурьжил, хоть с согласия, хоть без?

Перпетуя снова захохотала, но вдруг резко успокоилась и впиалась в полицейского ненавидящим взглядом.

– Докажет он! Помнится, то же самое ты кричал, когда попался твой чертов дружок, да не больно-то чего доказал? Не правда ли, комиссар?

От Вилли не укрылось, как покраснел блюстителю городского порядка и как заходили ходуном желваки на его лице. Ну, сейчас он задаст мамаше перцу!

Но никакого перцу Гарри его мамаше не задал. Более того, вся его злость, казалось, вышла, и он, постаревший и несчастный, опустил в свое кресло. Но и на лице Перпетуи торжества не было: похоже, ей стало не по себе, хоть она и продолжала хорохориться:

– Ну, теперя ты отпустишь меня, служивый?

Комиссар молчал.

– Знаешь, – понизила она голос до шепота, – выпить очень хочется, немоготу просто! Этот вот, – в сторону Вилли вытянулся грязный палец, – не сумел ничего добыть, так может, у тебя чего есть, а?

Вновь залившись смехом, Перпетуя поднялась со стула.

– Бывай, Гарри! Где тут у вас выход?

Уже у самой двери она вновь повернулась и добавила:

– Сопляка можешь домой прислать или себе оставить, мне все равно.

Жалобно загудела дверная пружина, и дверь с громким стуком захлопнулась. Комиссар не посмел задерживать вздорную пьяницу: у него ничего на нее не было.

Гарри поговорил с руководством магазина, с собственным начальством и замаял дело. На бумаге оно, конечно, осталось, но никакого наказания мальчишка не понес, если не считать распространившихся по округе слухов. Впрочем, слухи-то эти и были самым ужасным наказанием, почище даже, чем детская тюрьма, которой так боялся Вилли. Теперь и соседи, и одно-классники смотрели на него исподлобья, а иные и вовсе отводили глаза при встрече. Не раз он слышал за спиной шепот и тут же втягивал голову в плечи, словно боялся удара; учителя не оставляли его теперь в одиночестве в библиотеке и «классе с ценностями», а соседский парнишка Томми, пригласивший Вилли давеча на праздник по случаю своего дня рождения, подошел к нему на улице и без обиняков заявил, что мама-де не велела звать к себе воришек.

Вилли Кай молча сносил обиды, убедив себя, что сам виноват во всем случившемся. Если бы он не послушал матери и пошел тогда не в магазин, а напрямик в полицию, то и не случилось бы этого ничего. Дядька Гарри, который, как оказалось, был другом его отца, нашел бы способ укрыть его от гнева родительницы! С другой стороны, думал он, неужели же можно жаловаться на мать? Разве это не было бы предательством?

– А не она ли предала тебя, сынок? – спросил комиссар, когда Вилли поведал ему при случайной встрече о своих переживаниях. – Она должна гордиться таким сыном, а вот ты, милый мой, – стыдиться такой матери. Как бы там ни было, ты теперь в сложной ситуации, – добавил он со вздохом, – и в ближайшее время тебе придется нелегко, но время, дружок, лечит все раны и притупляет людскую память...

– Дядя Гарри...

– Что, малыш?

– А ты не можешь рассказать мне про папу? О чем это говорили вы с матерью тогда, в участке? Каких теток он мурыжил без разрешения?

Наивность и непосредственность мальчугана заставила комиссара улыбнуться.

– Могу, сынок, и расскажу, но позже. Видишь ли, история эта довольно грязная, а рассказ мой может отличаться от официальной версии и принести нам обоим проблемы. Но одно я скажу тебе совершенно точно – твой отец, Вилли, пострадал безвинно, и стыдиться его у тебя нет никаких оснований. Мир коварен, сынок, а некоторые особи, населяющие его, – он глянул вдаль и скрипнул зубами, – особенно.

Порывшись в кармане, комиссар полиции протянул Вилли монетку.

– На-ка вот, купи себе леденцов или еще чего...

– Не-а, дядька Гарри, магазины я теперь обхожу стороной.

Тот вздохнул:

– Ну, бывай!

Вилли грустно посмотрел вслед полицейскому и поплелся домой. У него было чувство, что его самого весь мир обходит теперь стороной.

В своей комнатухе, из окна которой были видны убегающая вдаль проселочная дорога и кусок леса, за которым голубела ленточка реки, Вилли старался поддерживать хоть какое-то подобие порядка. Он ежедневно подметал, а дважды в неделю мыл грубый дощатый пол

большой серой тряпкой, вытирал с козырьков железной кровати и подоконника неизвестно откуда берущуюся пыль и каждое утро аккуратно заправлял свою постель, чтобы вечером вновь разобрать ее и, нырнув под одеяло, погрузиться в мир сновидений – тот мир, в котором он чувствовал себя почти счастливым.

С некоторых пор ему снились не только зеленая солнечная лужайка и его старые приятели-звери, но и менее приятные вещи, такие как супермаркет, полицейское отделение, детская тюрьма и полупьяная мать, то льнувшая к нему и умоляющая украсть ей вина, то орущая благим матом и приказывающая «пойти стибрить водки». В своих снах он начал совершать продолжительные прогулки по окрестным рощам и берегу Фильса и даже направился как-то в сторону сверкавшей на солнце черепичными крышами деревеньки, но оробел и вернулся на луг. Кому-то может показаться, что он все больше отдалялся от реальности, но разве можно утверждать, что настоящая реальность – по эту, а не по ту сторону? Разумеется, малыш не читал произведений Кастанеды и понятия не имел об учении дона Хуана, но чувствовал и сам, что сны его – не просто красочные никчемные картинки, возникающие в его мозгу, а нечто гораздо большее и важное, нечто... настоящее. Мысли свои эти Вилли никому не поверял, так как, познакомившись поближе с человеческим обществом, боялся получить еще и ярлык сумасшедшего – клейма вора ему было вполне достаточно.

...Он тихонько спустился по темной лестнице и, переступив позабытое матерью старое цинковое ведро, пробрался к входной двери. Отодвинув засов, Вилли распахнул ее, полной грудью вдохнул свежий ночной воздух и негромко рассмеялся. Он не особенно осторожничал, так как знал, что спит и все, что тут происходит, ему подвластно. Настроение у парнишки было хорошим, как и всегда во сне, опасаться ему было нечего, и он настроился на очередную приятную прогулку по собственным владениям, где никто, кроме него, не смеет распоряжаться и приказывать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.